Стрелец

1

январь 1987

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ ЛИТЕРАТУРЫ, ИСКУССТВА И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ

$3.50



Издательство «Третья волна» предлагает новую книгу



Роман — $15.

Заказы и чеки направляйте по адресу;
Alexander Glezer
286 Barrow Strett
Jersey City, N.J. 07302

1 январь 1987
четвертый год издания



Стрелец

Директор
МАРИ КОШЕН

Главный редактор
АЛЕКСАНДР ГЛЕЗЕР

Художественный редактор
ВИТАЛИЙ ДЛУГИЙ

Стрелец

Фото:
АРТУР ВЕРНЕР
НАТАЛЬЯ ШАРЫМОВА

Стрелец

PUBLISHERS: Third Wave Publishing house, a project of (C.A.S.E.) the Committee for the Absorption of Soviet Emigrees, 80 Grand Street
Jersey City, New Jersey 07302
Arthur Abba GOLDBERG, Chairman

Адрес редакции в США:

ALEXANDER GLEZER
286 Barrow St., Jersey City, NJ 07302
U.S.A.

Адрес редакции во Франции
Alexandre Gleser
Chateau du Moulin de Senlis
91230 Montgeron
France

Стрелец

Цена номера – $3.50 28F. 9D.M.
Годовая подписка – $36.00 336F 107 D.M.

Просьба добавлять на пересылку $1

Подписчикам журнал доставляется за счет редакции

THIS PROJECT IS DONE AS A PUBLIC SERVICE BY THE COMMITTEE FOR THE ABSORPTION OF SOVIET EMIGREES FOR RUSSIAN SPEAKING INDIVIDUALS THROUGHOUT THE WORLD INTERESTED IN THE CAUSE OF HUMAN RIGHTS AND FREEDOM FOR INDIVIDUALS. FOR ADDITIONAL INFORMATION CONTACT BELLA VOLFMAN AT 80 GRAND STREET, JERSEY CITY, NEW JERSEY 07302 PHONE #201 332 7962

© 1987 by Committee for the Absorption of Soviet Emigrees. All rights reserved

Library of Congress Catalog Card No: 84-8582 ISSN: 0747-7287

4 СЕРГЕЙ ЮРЬЕНЕН — ПАРТИЯ АНГЕЛОВ. РАССКАЗ
12 БУЛАТ ОКУДЖАВА — НОВЫЕ СТИХИ И ПЕСНИ
16 ГЕННАДИЙ ВАЛЬДБЕРГ — ЧЕЛОВЕК ПРОХОДИТ КАК ХОЗЯИН... РАССКАЗ
18 ИГОРЬ БУРИХИН — ТРИ СТИХОТВОРЕНИЯ
20 МАРИЯ ШНЕЕРСОН — ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ПРАВДА И ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ВЫМЫСЕЛ. ИЗ НАБЛЮДЕНИЙ НАД «КРАСНЫМ КОЛЕСОМ» А.СОЛЖЕНИЦЫНА
27 ГАЛИНА КЕЛЛЕРМАН — КНИГА О ТВОРЧЕСТВЕ ВЛАДИМИРА МАКСИМОВА
28 ИОСИФ КОСИНСКИЙ — ДНЕВНИК РОССИЙСКОЙ КАТАСТРОФЫ
30 СЕРГЕЙ ПЕТРУНИС — ДАР ДОБРОТЫ
32 ГАЙТО ГАЗДАНОВ — ЧЕРНЫЕ ЛЕБЕДИ. РАССКАЗ
38 ВАСИЛИЙ АКСЕНОВ — ГЛАСНОСТЬ С ДЕФЕКТОМ РЕЧИ. РАДИОЭССЕ
42 ГАВРИИЛ ГЛИКМАН — ДЕЛО ЕГО ЖИВЕТ. СКУЛЬПТОР ВУЧЕТИЧ. ИЗ КНИГИ ВОСПОМИНАНИЙ
45 АЛЕКСАНДР ГЛЕЗЕР — КРАТКИЙ ОБЗОР РУССКИХ ВЫСТАВОК 1986 ГОДА

ОТ РЕДАКЦИИ

Дорогие наши читатели и подписчики!

С наступившим Новым годом вас, всех вам благ! «Стрелец» вступает в четвертый год своего существования. В редакционном портфеле у нас новые романы, рассказы, стихи, эссе, воспоминания и другие материлы. В этом номере мы предлагаем вашему вниманию стихи и песни Булата Окуджавы. Впервые любители поэзии услышали их в 1985 году на концерте Окуджавы в московском Доме художника. Насколько нам известно, эти произведения поэта в СССР до сих пор не опубликованы.

На первой странице обложки портрет Булата Окуджавы. Фотография Валентина Смирнова-Тилля.

Материалы авторов, проживающих в тоталитарных странах, в том числе в СССР, печатаются без их ведома



сергей юрьенен

ПАРТИЯ АНГЕЛОВ

рассказ

para ti, Aurora

УЖЕ В ПАЛЬТО И ШАПКЕ — ОН ВЕРНУЛСЯ. ОНА — ВОЛОСЫ ПЕРЕХВАЧЕНЫ ЧЕРНОЙ БАРХАТКОЙ – ПРОДОЛЖАЛА ПИТАТЬ ДОЧЬ. ОН ОТКРЫЛ ХОЛОДИЛЬНИК. Озарилась пластмассовая пустота.

– Voila, c'est papa a nouveau. Allez hop! mon petit biquet... Э-э-э! так ты ложку проглотишь. Что ты ищешь?

В морозильном отделении наросли сосцы сосулек.

– Где-то водка была. С моего дня рождения.

– Была.

– Где она?

– Козлов допил.

– Разве?

– На той еще неделе. Тебя не было, он постучался. Душа, говорит, просит. Я и дала. А что?

– А ничего.

– Папа твой под стрессом. И его можно понять. Allez, allez!..

Среди прозрачных дырок стояло яйцо. Одно. Выпью тогда его.

Он извлек – белое, индустриальное. Ударил, содрал с пленкой крошево скорлупы, и рвотная конвульсия подступила к горлу: вместе со слизью выплыло пятнышко крови. Зачатое, что ли? Вынес и спустил с седьмого этажа. В мусоропровод.

И вышел сам.

Окрест уже горели окна. Разминувшись с нагруженной Юдифью, осведомленно пожелавшей ему "ни пуха, ни пера", он целеустремленно пустился в путь сквозь глубокое грязносочное месиво, в котором вдруг увязла к середине февраля Москва 1974 года. Ростепель. Дыхание сбивает. Дворами – забирая вправо от смертельно нависшей угрозы сосулек. Напрямик через – недавно переименовали – Сальватора Альенде. Мимо парка – в темпе. Навстречу от метро, с продуктами на ужин, валил отработавший люд.

"Сокол". В щель пятак – и вниз.

Глядя с перрона в дыру, в назревающий гул: ужас, он думал. Ужас и страсть.

Вылетел поезд. Двери раскрылись – битком. Масса недобро смотрела, но, плечом принажав, он внедрился. Хрустнул при этом рассказ, расплющиваясь под пальто о выпуклость груди. С кропотливой неуклонностью он протерся промеж глыбистых тел, ухватился за промежуток изъеденной потом ладоней никелированной вертикали поручня, смежил веки и выпал из ситуации на все семь, долгих даже для столичных метроскоростей перегонов до "Павелецкой".

Мы пребывали с ним – незримые и вездесущие.

Станция "Павелецкая". Круты и похорнны ступени перехода на кольцевой маршрут. Отсюда, впрочем, было уже рукой подать – следующая "Таганская". Имени Высоцкого. Аминь.

Было черно, как ночью, когда он выехал из-под Москвы и вышел. Подмерзло все – и под подошвами, и воздух. Но людно было; к свету табачного киоска выстраивалась очередь, а поперек напора из метро возникали озаренные лица ровесниц и ровесников: "Не на Володю, друг?" – "Юноша, юноша! Лишнего билетика нет? Я буду ваша, юноша! До занавеса? До утра? до гробовой доски?" Он высвободил локоть. "Постойте, юноша!.." Пустырь. Хрустящая растоптанность пространства. Из спрессовавшейся в кармане пачки он вынул сигарету, раскурил – прибавил шагу. В известном смысле, ему тоже предстоял выход на сцену. Сыровато-горчащим дымком "Явы" унимая дрожь души, он вошел во тьму.

Человеком поверхности он не был. Как каждый, как любой из н е п р и е м л ю щ и х, он развивался с исподу. Долго. Десять лет. Всю жизнь. И в последние годы не только без видов, но и в отсутствие надежд на возникновение. На грани отчаяния – говорят. Так вот, пребывание на этой грани становилось уже образом жизни. Однажды рукописи его вернулись, отовсюду, все, и он решил, что хватит, сколько можно, ведь ясно: отвергнута сама претензия. Нет, больше не вылажу. Его инструмент, однако, продолжал омрачать ночным стуком ночную тишину меняемых квартир, а на рассвете, несмотря на все свое омерзение к физиономии в зеркале, он все же выбирал зубную щетку, оставляя (нам, нам благодаря!) сопровождающий его по жизни золингеновский трофей отца, зеркальный, с выгнутой перламутровой рукоятью, в качестве пока что декорации. А как хотелось иногда! От уха до уха – ухмыльнувшись напоследок кровью. Себе любимому в лицо. В несостоявшееся. И ничего особенного, из ряда вон выходящего, экстремального в этой возможности – от уха до уха – уже не ощущалось. Тот же Козлов, по соседству, опоясал свой атлетический торс решительной спиралью хрупких шрамов – просто так. Лезвием "Спутник" доказывая оцепеневшим от ужаса Юдифи

и семилетней Таечке, что, невзирая на запои, семье он предан. А тут ведь речь не о семье, пусть и отдельно взятой, но среднестатистической, тут – о литературе, извечно требующей жертв. О каннибальской ее утробе, прожорливой и ненасытной пасти. Метафора, вы говорите?..

Это была Эсперанца – кто его вытолкнул. Лично он газет не читал. У нее же еще не атрофировалась иной цивилизацией воспитанная потребность, которую она утоляла здесь, где "Ле Монд" не в обиходе, за две копейки – "Вечерней Москвой". Августовским утром он отвалился от машинки, поставленной на табурет, и пребывал в прострации – с "Герцеговиной Флор", угасшей между пальцев оброненной руки. Загородив чужестранную свою наготу "Вечеркой", подобранной в сортире, явилась Эсперанца. С болью двинув глазами, он созерцал ее, читающую стоя у плиты. Чужестранно-странную на фоне кафельной, хирургической белизны. Вплоть до оттенка кожи. Потом вместо машинки возникают две керамические чашки, надорванный блок рафинада, крытая парафином картонная призмочка сливок и наконец – в роли кофейника – румынский эмалированный чайничек, ало-задымленный такой и исходящий парным духом. Она садится рядом: "Прочти". Как бы он ни был изможден, в те времена от глотка кофе, ей привнесенного в обычай, жизнь неизменно возвращалась, пускай и безысходная. Он глянул в разворот – "Литературная страница". Глаза его скользнули – оценивающим зигзагом. "Да ну, говна..." – "Прочесть тебе?" – "Тогда уж лучше страничку из Mort a credit". – "Потом. Тут образцы "московской школы". Он взял. Она – глаза блестят – поднесла огня на спичке. Он затянулся. "Подвал" страницы занимало произведение в прозе. Сочинил некто Русских. В лоб было псевдонимом. Отвечая на вызов эпохи, молодой автор все же явно переборщил. Да и название с души воротит: "Веселая история (Новелла)". Переборов, он стал читать. От первого лица. Некий "я" шагал по Москве, неся приобретенную в дом палку для занавески. Палка натыкала это "я" на микроконфликты с толпой, тут же, впрочем, взаимно вежливо разрешавшиеся. Необходимость занавески вызывала у "я" ностальгию по добрачному периоду и намекала на проблемы молодой семьи. "Говно", – отложил он газету. – "А "Ганц Кюхельгартен?" – оспорила она. – Нет, что-то в этом есть". – "Есть что?" – "Есть город! Новая ментальность проступает". – "В чем это новая? Отголоски тех же Шестидесятых". С прищуром она затянулась папиросой. "На твоем месте я бы отнесла на конкурс, скажем, "Шар" и "По пути к дому". – "Что за конкурс?" – Он взял газету. Рядом с прогнозом погоды был анонс в рамочке. Литературная студия при МГК ВЛКСМ и Московской писательской организации объявляла о начале двухгодичного цикла. Зачисление по результатам творческого конкурса. "Тебе не кажется, что это шанс?" – "Угу. Капитуляции". – "А в стол годами мастурбировать, по-твоему, триумф? Литература – это контакт, коммуникация". – "А Эм-Гэ-Ка, – сказал он, – Московский городской комитет". – "Но ведь не Госбезопасности – комитет?" – "Не понимаешь ты..." – "Прекрасно понимаю. Все тот же страх. Боишься!" Он выскочил из кухни и вернулся с бритвой. "Боюсь?" Он выбросил лезвие. "Не имитируй мне Козлова, – сказала она. – Не смерти. Ты рождения боишься. Изначальный ужас".

Тем временем отмахав пустырь, он вынырнул на тусклый свет. Казалось бы, уцелевший фрагмент старой Москвы, укромный прияузский переулок – однако, не без трепета мы следовали за ним. Был ли то умысел лукавого? Документальным фактом остается то, что еженедельные занятия будущих российских литераторов происходили в столичном Доме атеизма. Он вошел за ограду бывшей дворянской усадьбы. Под высокими окнами особняка мерцал нетронутый снег. Ежась и перетоптываясь, на крыльце перекуривала стайка поэтов. Давным-давно и в Лужниках, и в Политехническом отгремели раскаты поэтического взрыва "оттепели": стадионы обезлюдели, ореолы исчезли, нимбы угасли. Сквозь зиму прорезалось новое племя – "тихих лириков". Нахохленных, шеи втягивающих под торчащие воротники пиджачков, рассудительно прогуливающих нечто в натур-созерцательном духе. Иронически взглянув на коллег, молодой человек одну за другой отворил входные двери бывшего особняка.

Свет, высота. Старинный мрамор. Суета, резонанс голосов. Ощущение, что из носу течет.

– С-сергей! – окликнули его из очереди в гардероб. – В-ваше п-п-пальто!

Он сунул шарф и шапку, еще дедовскую, в рукав, вынул расплющенный рассказ и бросил пальто на прилавок перед собратом по прозе – кадыкастым, близоруким, мягкорунным таким блондином; и, кстати, тезкой. Гардеробная бабушка утащила пальто, сделала замечание за непришитую вешалку и щелкнула алюминиевым номерком.

– С-спасибо, С-сергей, – выговорил он, – вспыхивая от неожиданного заикания.

Блондин Сергей сдал шубу своей жены, которая в отдалении промокала ноздри платочком, сдал свое пальто и, пряча номерки, взглянул своими добрыми глазами. Незабудковые, они у него часто мигали: тик.

– Д-д-да вы не волнуйтесь, – с кроткой доверительностью произнес он. – Не с-смертельно.

День его дебюта на студии был неделю назад, причем оппонировать выпало именно Юргенену. Тексты блондина были напечатаны сквозь новую ленту, через два интервала и на финской бумаге; но что было делать? Учитель словесности в миру, в прозе блондин оказался утопистом. Безмятежный исторический оптимизм царил в его душе. Впервые в жизни оппонент встретил кого-то, кто действительно верил – причем, не столько в официальное "светлое будущее", сколько в неминуемое торжество Эдема на земле: лазурный горизонт, кудрявые рощи, светлые струи, бесполые любовники, тихо-счастливые матери, румяные дети и прочий антураж надуманного им в часы досуга рая. Сбросив балласт бытия, автор отлетал и празднично парил над Москвой середины 70-х – этаким самодовольным ангелом во плоти. Причем, написано все это было не вполне по-русски. Как в русскоязычном издании "Курьера ЮНЕСКО" – отдавало переводом уж Бог весть с какого наречия. Что было делать? После того, как блондин сошел с трибуны, оппонент исполнил ритуал критической казни – в наищадящей, впрочем, форме. Еще и потому, что на занятия утопист являлся вместе с женой, тоже учительницей, но ботаники. Стыдливей, чем супруг, забивалась она в задний ряд, стягивая себя шалью в некий сокровенный, сопереживающий комочек – скорее, сестринский или даже материнский, по сокрытой сути. Что эта пара могла быть связана иными узами, помыслить было бы брутальностью.

– Вашими б устами.

– Ув-веряю вас: не с-смертельно.

– Нет?

– Н-не на этой стадии.

Всунув платочек под манжетку, его жена простуженно пообещала, одновременно вспыхивая:

– Мы будем за вас болеть.

Деликатно сутулясь, утопист повел ее под локоток в направлении зала – уже людного.

Сигареты остались в кармане пальто, и он снова получил выговор за оторванную вешалку.

Слоняясь вестибюлем среди полузнакомых лиц и фигур, он ощущал набряк шесть левой руки с трубкой рассказа. Лицо уже горело – явно преждевременно. Усиленно затягиваясь тошнотворным сигаретным дымом, он остановился перед стендом с развернутой экспозицией на антирелигиозные темы. Карикатуры на Книгу Бытия – его первая, инфантильная порнография, неизбежная для поколения. Нет, неспроста сей безобидный комикс прогрессиста из Парижа был увенчан тут Ленинской премией: он ее, безусловно, отработал. Осмеянный миф о сотворении побивался версией науки, которая открывалась угрюмыми антропоидами. Завершал ее всесторонне развитый Новый Человек в строевом его марше к Будущему Всего Человечества. Над Новым Человеком был портрет Брежнева. Молодой человек двинулся обратно, скользя глазами по продолжателям, основоположникам, затем предтечам коммунистического учения. Томмазо Кампанелла в монашеской рясе. От послушания к тюрьме и к бегству во Францию, от черной магии – к утопии "Город Солнца".

Был такой город в его жизни – за Окружной московской дорогой. Не утопичный, а вполне реальный город Солнцево Московской области, вырастивший свои шлакоблоки на месте деревни Сукино. Город-спутник, "спальный" город – как элегантно обозначают социологи этот тип концентрации вблизи мегалополисов. С поножовщиной на танцплощадке, с редчайшими новинками в книжном магазине, с тараканами в макаронах, отпускаемых в развес, с сине-зелеными цыплятами в канун праздников, с белым спальным гарнитуром из ГДР за витриной "Мебели", – не по карману никому, – с безобразиями, с христосованием на Пасху, с чистым воздухом, мистическими закатами и дальним шумом ночных электричек. Там, в Солнцево, стихия бытия царила на свободе: ни первого отдела, ни стукачей, ни даже признаков милиции. Не имеющий ни телефонов, ни такси, этот город страшно и отрадно далек был от столицы, от которой всего лишь полчаса на рейсовом автобусе. Там, на отшибе от альмы матер, он и снимал жилплощадь – для себя, запретных книг и пишущей машинки. Именно там его, схоронившегося, и отыскали силы, превосходящие не, что КГБ, но и само воображение. Они явились к нему перед закатом Первого мая – в виде химеры, сюда слетевшей прямо с парижской Нотр-Дам. Она была темноволоса, имела тело озорного отрока и говорила на всех языках, его родной включая. Она дала понять, что под предъявленным предлогом одолжить машинку с русским шрифтом (а еще лучше, если он на себя возьмет перепечатку дипломной ее работы /о Гоголе, кстати/) сквозит иной мотив – нечто вроде сезонного обострения неудовлетворенности существованием – чисто эстетического свойства. А там и: "Говорят, вы пишете? Нельзя ли будет почитать?" Не без видов на идущую в руки победу, он тут же предложил ей текстов к чаю – и удалился свистеть на кухню, где закат. Свистел он долго и заливисто, ибо от соприсутствия парижанки находился в невыразимом по-другому состоянии.

Тем временем закат угас. Вернувшись, он, не включая света, уселся визави – и, к изумлению, был разгромлен. По существу представленных им образов. Поверхностных отражений самосознания – вот вам выбор, одно из двух, – либо боязливого, либо нечестного с собой. Нокдаун. Оправляясь, он пролепетал: "Помилуйте, но форма, стиль..." – "Ах, стиль?!! – вскричала эта фурия. – Как способ и з б е ж а т ь?! Этот ваш набоковский комплекс: "Ах, артистизм! Пластичность парадоксов!" Стилевые змеи, свои же хвосты глотающие! Кольца ужаса! Никогда не задумывались о том ч т о движет вами по бумаге? О внелитературной обусловленности этого (трясла она рассказы) до последнего эпитета, последней точки; точки с запятой – в индивидуальном вашем случае? Страх правды – нет? Или, может быть, исходите из предположения, что эта вот сверхсложность, изощренно-симфоническая неподвижность – признак цивилизованности? Тогда вы ошибаетесь. Цивилизация – глагол. Действие! Американцы пишут просто.

За окном зажегся огонек, сигнальный, на трубе теплоцентрали. Угловой сей дом обогнул автобус, и пол под ними затрясся. Снова все стихло. Из черноты оконного проема веяло духом окрестных полей; явственно различался аромат расцветающих черемух.

– Какое уж тут действие! – в сердцах сказал он. – Атрибутивность тут одна.

– И тем не менее: эпитеты долой.

– И вместе с ними младенца из корытца? Если их долой, то от меня, пожалуй, ничего и не останется.

– Останется, не бойтесь.

– И что же именно?

Смуглое на свету, лицо ее теперь смутно белелось перед ним. С неопределенным акцентом она сказала:

– Я думаю, что страх.

– Страх?

– Да. А может быть, и ужас.

Он честно повоображал: одно, другое...

– Да ничего я, в общем, не боюсь.

Уличающе зацокал ее язык, – кто его знает, может статься, раздвоенный на конце.

– Вот тот рассказ. Где сын-самоубийца на фоне мамы.

– "Минное поле".

– Ландшафты хороши, но мама ирреальна.

– Вы же не знаете прообраз!

– Но вы мне показали мальчика, которому я верю. Который безудержно, но хитроумно стремится в поле. Маме как бы вопреки. И без мотивировки. Предложить вам?

– Попробуйте.

– На самом деле, – сказала она, – ваш мальчик ищет исполнить ее желание.

– Нет! – возразил он. – Потому что мир жесток. Оставим его маму.

– Кому, радиопесням? Монументальной пропаганде?..

Он молчал.

– Это святое, не правда ли? Оставим, ладно. – Отложив рассказы, гостья поднялась. – Мне пора в Москву.

– Уже ушел.

– Что вы имеете в виду?

– Автобус на Москву. Последний.

– Такси?

– Не существует.

– А телефон? Я позвоню бой-френду, у него машина.

– Большевики еще не провели.

Она засмеялась и села обратно, и – мой ты Кампанелла – осталась на ночь, и осталась жить в осуществившейся утопии, и однажды ночью, в последних числах ноября, ужас отлепил его

и выгнал босиком на кухню – с машинкой в руках, рычажки которой за безвременье простоя подернулись ржавью.

Ночной тот текст и распирал сейчас ладонь.

В плевательнице на полу стояла рыжая вода. Окурок зашипел. Прерывисто вздохнув, он с хрипом прочистил горло и – темячком вперед – к проему лекционного зала.

Он был полон. И освещен до рези в глазах, этот бывший бальный зал – еще и хоры сохранились. Но еще в прошлом веке отыграли свое крепостные музыканты, и с некоторых пор здесь правил бал совсем иной персонаж. Он шел, таща и растягивая за собой вдруг возникшую пуповину всеобщего внимания. Это и понятно: все они тут загодя обдумывали и предвкушали его, намеченного на сегодня. Боковым зрением он опознал влиятельную либеральную фигуру со стороны – критика С***. Профессия и репутация других посторонних – с комсомольскими значками не по возрасту – внушали известное сомнение. Всего в зале было человек семьдесят. За полгода занятий каждый здесь избрал свое место в соответствии с самооценкой. Самые наглые, естественно, забили первый ряд – сразу перед столом президиума. Как бы стряхивая бремя внимания, он передернул лопатками под свитером и занял место с краю в третьем ряду.

Стол президиума был накрыт зеленым игорным сукном. За ним сидело руководство студии – члены Союза писателей В***, С*** и поодаль – Р***. Перед каждым из них на сукне лежала рукопись. Одна и та же: первая копия, третья и вторая. Каждый себе доставшуюся уже прочитал. Мнения, однако, были сокрыты под масками профессионального бесстрастия. Выложив кулак на стол, С*** говорил что-то на постороннюю тему В***, который, молча внимая, важно смотрел в зал. Две выбритые складки – одна над другой – отложились у него под подбородком. Высоколобый Р** с усами и бородкой а ля Иисус Христос медлительно докуривал сигарету "Пегас" (малоудачная новинка фабрики "Дукат"). Незрячим взглядом интроверта смотрел он перед собой, не имея в лице ни кровинки. Молодой человек бесшумно перевел дыхание. На пороге решающего момента в его судьбе к нему вернулось хладнокровие. Резко пахнуло мускусом и польскими духами "Быть может" от сидевшей перед ним по второму ряду тучной девушки-пародистки. Узел волос на ее затылке был искусно сплетен из множества тугих смолисто-черных косичек. Вдруг она повернулась и сказала шепотом: "Все образуется". У нее было румяное, очень юное лицо. В ответ он прикрыл глаза, кивнул. За зеленым столом В*** сказал: "Начнем, пожалуй?" С*** выложил перед собой второй кулак и, повернувшись к залу, принял модный в те времена угрюмо-скорбный, "солженицыновский" вид. Р*** раздвинул спичечный коробок и затушил в нем окурок. Трубка рукописи в руках молодого человека была обтянута резинкой, и он застрекотал ею книзу.

– Сегодня, – возвестил В***, – мы обсуждаем прозу Сергея Юргенена. Я правильно произношу фамилию, Сергей?

Он поднялся.

– Правильно.

– Это ведь финская фамилия?

– В общем, да. Скандинавская...

– Значит, будете у нас сегодня в роли варяжского гостя. – Пошутив, руководитель вновь принял строгую мину. – Что вы выбрали для чтения?

– "По пути к дому".

– Это надолго?

– Минут на сорок.

– Тогда немедленно прошу на Голгофу.

Элегантная трибуна замыкала перспективу прохода.

Он взошел и оказался над залом.

Лакированная наклонная плоскость завершалась выступом задержки. Он развернул и утвердил рассказ. Захотелось вдруг взяться за края трибуны, но тут же он постановил, что по отношению к этому символу власти будет держаться без фамильярности – напротив, отчужденно. Он развернул плечи, выпрямился и взглянул с высоты.

Кровь ударила в голову.

О н и!

Он взял себя в руки. Бегло осмотрев ряды, из пяти женщин он выбрал русскую – как наименее заинтересованную предстоящим актом. Особа была странноватая. Абсолютно замкнутая. Являлась регулярно, но без видимого интереса. Ни записей не вела, и на обсуждениях отмалчивалась. Вот и сейчас, белея лицом, она пребывала на предпоследнем ряду – с видом прилежным, едва ли не по-школьному руки сложив, – и совершенно отсутствующим. Звали Эльвирой, в столицу приехала из Ульяновска. Еще говорили, что пишет человек "нетленку". Ее он и наметил – в качестве барометра.

Он повторил название и опустил глаза:

–"Народ еще толкался у дверей первого автобуса, а тут вдруг подошел еще один 552-й, приостановился за первым, и Косточкин, как каждый в очереди, замер: откроет? или станет ждать, пока первый отвалит? Такое было мгновение."

Эльвира осталась безучастной. Продолжая читать, он взглянул в ее направлении раз, другой, а потом вдруг увлекся и, выйдя из интонационно-сложного периода, на месте этой ледышки углядел лишь только вспышку, молниеносную, как свет болида: под напором эмоций авторское видение явно расфокусировалось. С другой стороны, надобность в показаниях извне отпала: он, как говорится, уже овладевал аудиторией. Не только критик В***, но и лже-комсомольцы в штатском перестали брать его на карандаш, отложили свои хроники и обмякли в пассивном восприятии сюжета. Русских в первом ряду утратил ревнивый прищур конкурента и, осоловело глядя, ритмично выдвигал хоботок яркогубого рта. Потом и его, близкого, смыло. Что было залом и людьми – смутно стало и плывуще. Как водоросли на далеком дне. Приподнимаясь в трибуне на носки, ног под собой автор уже не чуял. Время от времени левая рука, то бесплотная, то словно бы чужая, откладывала дочитанную страницу. Обручем ему сжимало голову. Исходя в пульсациях височных вен, она все нарастала, разбухала, эта голова, – как у макроцефала, как у зародыша, – и было нестерпимо. Испанская пытка – было. Сквозь раскаленное кольцо которой он напирал, прорывался, тужился – и вдруг она прошла. Голова. Прошла совсем, как отскочила, отвалилась. И только голос – прорезался. Единственный отныне его представитель, он уходил и возвращался, и снова наступал, раскрывая этот зев, наполняя этот зал, забивая это жерло до приоткрытой двери выхода, куда заглядывала старушка в синем, – и бросая. Отнимая, изменяя, возвращая обратно обещание завершения, финала, припадка, пароксизма, последних содроганий, конца. И это нарастало. И должно было – по замыслу, осуществленному на сизой от сигаретного дыма кухне два с лишним года назад – оборваться непроизвольно.

– Да тихо ты, Бога ради!.. – прошептал Косточкин с яростью, внезапности которой он даже сам поразился .

Вот так. Без воскресения, без гибели – в ничто. Спот-

кнувшись о фразу, которая и оказалась – вы не были готовы? – последней.

Он собрал рассказ.

Спустился.

Сел.

В сложносочиненной его ноге подергивался некий мускул. Глаза застлало пеленой, и он еще не слышал ничего: по обе стороны мозгов добухивала кровь. Завел за шею руку, оттянул ворот – из-под него, возможно, повалил пар. Рубашка под свитером липла к лопаткам. Позвоночник больше не держал и словно бы растворялся; он сполз по вогнутой спинке, вытянул ноги под сиденье пародистки. Обернувшись, она сверкнула глазами;

– Т а к о е было мгновение!

Сзади его ухватили ручищи представителя второго, пока еще не рожденного поколения "деревенщиков":

– Ну, кореш, ты меня достал!

Шумный зал расслышал и засмеялся – даже Р***, белогвардейские черты лица которого тронула краска жизни. Только Русских не смеялся. Обычно розовенький, он был, как мел. Но и он смотрел совсем другими глазами.

Во время обсуждения автор не поднимал головы. Уши на ней вздулись и пылали. Этой всеобщей любви он хотел вожделел даже, он спровоцировал ее; а теперь ему было стыдно. Провалиться желалось. Скукожиться и под пюпитр.

Официальный оппонент Оседлов, единственный из них всех "выездной", бессвязно, но пылко делился впечатлениями от прочих рассказов автора, прочитанных им, спортивным переводчиком, в кресле авиалайнера по пути в Канаду и обратно через Копенгаген.

Отнюдь не "выездной" Крузенштерн, баскетбольного роста и атлетического сложения кандидат технических наук с иссиня-черной бородой, огромной и в мелких колечках, благодарил автора за передачу ему, Крузенштерну, своей э н т е л е х и и – в чистом виде и в аристотелевом смысле. Среди студийцев он был единственный при галстуке и запонках на ослепительных манжетах. Писал он сам "черные" монологи от лица мерзавцев разных профессий, как-то: "Таксист", "Врач скорой помощи", "Хозяин кооператива", "Служащая паспортного стола", "Блюститель порядка" – и тому подобные физиологические очерки состояний неограниченного цинизма в действии. Потрясший всех под Рождество как автор, сейчас он снова всех смутил виртуозным спичем с выходами в эстетику античности.

Всех – кроме пародистки. Глазом не моргнув, девушка дополнила Аристотеля его учителем Платоном, "Диалогами", диалектикой и принципом сократической иронии, "этой вечной повитухи истины, современный образ которой и был нам сегодня предложен". Она плотно уселась обратно, и на этот раз аромат ее духов "Быть может" ноздри автора не без трепета восприняли в смысле безоговорочного решения в его пользу. "Но пародию я на вас напишу", – шепнула девушка, подтверждая выводы обоняния.

Остальные выступали проще. С задних рядов женский голос вдруг возразил: "Но ведь вопрос в итоге остался неотвеченным?" – не Эльвира ли попала в ахиллесову пяту? Все замолчали, сердце замерло, разоблачение казалось неминуемым... но зал взорвался: "Ответ не главное! Поставить – главное! Задать!" Животом вперед поднялся Р*** и, багровея, раздуваясь, глядя вдаль на представителей горкома, задиристо напомнил слова политэмигранта Герцена: "Этого общества мы с вами – не врачи. Этого общества мы с вами – боль!" Гул, хлопки одобрения. "Да, – сказал "деревенщик". – Отзывчивость к боли других у него явно не по годам. Наверное, Юренев пережил – дай Бог каждому!.." Тогда судебный медик с погонами майора милиции, автор юморески о попытке угона троллейбуса в Турцию, предположил обратное: быть может, он, Юрвенин, по молодости лет и сам не ведает, что сотворил?

Стремительно – все замерли – поднялся Р***:

– Какая молодость, помилуйте?!! Наш первый, вечно юный наш роман – "Герой нашего времени" – был закончен его ровесником! А годом позже Михаил Юрьевич уже судьбу на вызов приглашал! Мы с вами слушали рассказ, который венчает вот эту, – положил он руку на рукопись, – к н и г у. Она написана, по нашим сегодняшним меркам, совсем еще юным человеком. Но автор ее обладал уже тем, чего и до седин можно не нажить: своим видением мира. Я слушаю вас вот уже полгода и должен сказать, что сегодняшний день для меня особенный. Благодаря совершенно неожиданной, тем паче – в этом доме, встрече с человеком, который пишет не всуе, а вот именно ведая, что творит. Благодаря встрече, – пауза мертвой тишины... – с п и с а т е л е м. Да! И будь моя воля, я бы тут же принял этого писателя в наш профессиональный союз. Впрочем, и я не совсем уж беспомощен. Когда придет время, рекомендацию вам дам с удовольствием. Самое же главное – помочь с изданием этой книги. Надеюсь, коллеги меня поддержат. Иначе – зачем все это, собственно говоря? Эта студия – и вообще?

Он сел. Где-то скрипнуло сиденье. "Книга? Писатель? Этого не может быть, – думал он. – Это не со мной все. Не про меня". За спиной потрясенно произнесли: "С клена падали листья ясеня..."

– Этот дом, – сказал С***, – не рухнул, кажется, только потому, что "Бог" в рассказе произнесен ни разу не был...

– Был! В междометии "ей-Богу", – вставил Русских, внимательный же человек.

– ...но лично я воспринял рассказ как аргумент. От противного, как говорится. Да? Только что из братской Польши переслали экземпляр моей книжки. Издали они так: на обложке икона, простреленная пулей. По-моему, все ясно, нет? Поскольку их, рекомендаций, надо три, я дам вторую. Если устрою, конечно, как рекомендатель.

Опустившись, С*** прикрылся ладонью, как бы совестясь своего пафоса; задавленный авторитетами недавний провинциал, он имитировал не только Солженицына, но и – а ля Хемингуэй – "боязнь высоких слов", уже немодную в его идейной группировке, предпочитавшей Фолкнера и Вульфа. Но С*** был еще робкий патриот, только нащупывающий верный путь в столичном плюрализме того безвременья (откуда выход знали только демоны и мы).

– Для меня, – сказал В***, – этот вечер в чем-то символичен. В чем-то – по большому счету. Тут мои коллеги, каждый по-своему, выразили свои чувства по поводу учреждения, в котором приходится еженедельно собираться и работать. Разделяю всецело! Считаю безобразием, товарищи из горкома, что во всей столице не нашлось нам, литераторам, более соответствующего пристанища. Крещеных людей в этом зале, возможно, раз-два и обчелся. Однако все мы с вами имеем честь принадлежать к словесности, которая в купели родилась! Отрадно, что на исходе тысячелетней ее истории мы начинаем об этом вспоминать – пусть и под столь неподходящей кры-

шей. Ну, да ладно! что уж там. В конце концов, важна не форма, а содержание. Пойдет в рост, а там, Бог даст, еще при этой жизни мы встретимся с вами не в этом Доме, а во Дворце Духа! – Раздувшись до отказа, руководитель перевел дыхание и сбавил тон. – Третью рекомендацию я вам дам. Но вступление в союз, это не завтрашние заботы. Книга – вот точка приложения усилий. Обнадеживать вас не стану. Работаете вы на грани публикабельного, так что пробиться вам будет непросто. Мы, разумеется, сделаем все, что в наших силах. Но в литературе российской, как вы и сами знаете, власть писателям пока еще не принадлежит. Надеюсь, терпения дождаться у вас достанет. Надеюсь, все тут сказанное сегодня голову вам не вскружит. Не почивайте на лаврах. Сергей! Долбите! Это относится ко всем. Рождение писателя не только право, но и главный его долг. Не забывайте об этом. Долбите! бейте лбом! Авось пробьете.

На этом занятие в Доме атеизма закончилось. Уже все поднимались, хлопая сиденьями, когда к трибуне вышел человек и поднял руку. Вместо творческих семинаров, объявил он, в следующий раз будет лекция, общая для всех – прозаики, поэты, драматурги. Тема пока еще неизвестна, явка – строго обязательна. На сером лацкане поблескивал значок в виде миниатюрного знамени с профилем Ленина; сам же он имел твердо очерченное, аскетически-суровое лицо. Темно-сизые скулы напоминали пистолет "ТТ" и облик летчика с коллекционного бумажного червонца тридцатых годов. Инструктор по литературе Петров мог бы сойти за несгибаемого ретро-сталиниста; образ портили надетые зачем-то фривольные солнцезащитные очки.

Исчезнуть в темноте не удалось: от Дома атеизма за ним валила свита. Вокруг наперебой предлагалось продолжить неофициально, выдвигались названия ресторанов, еще открытых алкогольных точек ("Мотор – и на Смоленку! Во Внуково и назад!"), завязывался конкурс "хат" (с малиновым вареньем к чаю и дедушкой-библиофилом, с отсутствием жены и датским фильмом, с фотостудией на дому и парой лесбиянок из кордебалета на той же лестничной площадке и даже – с обсуждением сборника "Из-под глыб") – он устоял. Устал он. После "Таганской" свита поредела, но и после "Павелецкой" его все теребили (предложением сочинить в соавторстве сценарий, предложением "сочинить ему дублон" или, по крайней мере, блейзер для будущих визитов в ЦДЛ). Предпоследний, отваливая на "Проспекте Маркса", предагал вложить уже вычисленные три тысячи, которые он получит за книгу, в какой-то сомнительный "верняк" – распространение "эсеровских" ксерокопий Апокалипсиса: "Через год на "мерседесе" будешь ездить! Как Володя!.." – "Не в том беда, что гедонисты, а в том, что – графоманы, – сказал Русских. – Я докторскую защищаю на той неделе. Давай дружить домами?" – и соскочил на "Маяковке", такой пострел. С облегчением он взялся за поручень, но тут от темных стекол с двойным "НЕ ПРИСЛОНЯТЬСЯ" повернулась некто в серо-голубой дубленке...

– Эльвира?

Он в первый раз увидел собрата по перу в упор. Какой "собрат", о чем ты? Бледная, с порами сквозь тон, уже повидавшая виды, но еще с глазами – наивной, выплаканной голубизны. И угрожающе-восторженными. К лону голыми руками прижат мужской портфель.

– А я не знал, что вы по этой ветке.

– Я по другой. Неважно. Просто я хотела вам сказать. Сегодня вы так раскрылись... Вы, наверное, смелый человек.

– Эльвира, это просто роль. Известного бесстыдства требует. Ваш день придет, откроетесь и вы.

– Я? Никогда!

– Придется. Молва гласит, у вас в работе исторический роман?

– Хотя мне первый муж московский и прививал пороки, я не эксгибиционистка: нет! Не исторический. О современности роман. Но там я как бы – из будущего. Ракурс там. Ретроспектива. Вы знаете латынь? Sub specie aeternitatis. Ну, в общем исторический, вы правы. Только концовки еще нет. Я вам прочту. У вас ведь есть кофемолка?

– Есть, – опешил он. – Ручная.

– Кофе у меня с собой, но в зернах. Вы по-турецки любите? Ах, да у вас, наверное, жена-ребенок? Я тоже без угла сегодня, такой огромный город, правда? а некуда приткнуться, но что поделаешь, да? Но вы меня прочтете? На ночь? – Воротник ее дубленки был отстегнут, под бело-зимней кожей горло пульсировало тонко, голубым. Ломая ногти, она пыталась отстегнуть застежку на боку портфеля.

Поезд вылетел из тоннеля.

Портфель распался, он был набит с трудом – червонцы, вата, колготки, зубная щетка без футляра, закопченное дно болгарского кофейничка, рукав махрового халата, сигареты, косметика, червонцы, резиновая груша с черным клювом. "Где же она?" – вытаскивалась из-под всего тетрадь и лепеталось про версии финала, вот он прочтет, он ей укажет оптимальный...

Двери за ним еще не съехались. Он резко оттолкнулся от поручня:

– Моя станция!

Выскочил и повернулся. Согнувшись, будто в живот ударили, девушка прижимала к себе свое барахло, глядя поверх всего этого с какой-то собачьей тоской.

– Сережа, я пропала, – сказала она из вагона.

– Эльвира, я обязательно прочту. Это прекрасный роман, я уверен. В другой раз – договорились? Моя станция!

– Не понимаешь, да? Ich bin verloren. Ich bin am Ende!

– Что?..

Она смущенно улыбнудась. Двери съехались, оставляя его – наконец – в одиночестве. Он еще догонял уплывающие стекла – "НЕ ПРИСЛОНЯТЬСЯ / НЕ ПРИЛОНЯТЬСЯ", бежал и делал гримасы, ободряюще-заверительные, все, дескать, будет, сбудется и состоится – в другой раз! – и махал, как отмахивался – и Эльвиру унесло. Окна сплылись в ослепительную полосу. Поезд исчез. Урчащая тьма дыры в перспективе умолкла. Он отвернулся. Безумный мир.

Это была станция "Динамо".

Не его.

Прислушиваясь к отзвуку своих шагов, он направился к выходу на поверхность.

Вдали от победившей Родины, невдалеке от кирхи восемнадцатого века, вуаль откинув, женщина вскричала по-немецки:

– Боже мой, умоляю! Спаси нас, Курт!

Она была уже на сносях – и ужас захлестнул во чреве уже готовый к выбросу во человечество плод майских страстей.

Тот, кто был назван Куртом – лицо эпизодическое, даже однократное, – несостоявшийся по возрасту вервольф, а ныне

сотрудник гаража комендатуры, жал на тормоза и обливался горячим юным потом.

Opel Kadett, столь лихо вылетевший из-за угла, волчком крутился по обледенелой мостовой; то возникал, то исчезал в глазах у женщины серп месяца. Январь в начале. Лед.

Еще достывал на этой земле Взгляд Ужаса, но мы уже витали в избранных местах; к ним относился этот городок – восточная столица Бранденбурга, аванпост рейха, без малого три года назад оставленный Третьей танковой армией генерала Хассо фон Мантейфеля. Еще важнее событие произошло здесь сто семьдесят лет назад, когда сей город разрешился безумцем Эроса и смерти, автором бессмертного "Принца Гомбургского" и парного самоубийства в компании с девицей Фогель... Вы угадали: Генрих фон Клейст. До этой ночи и ее событий единственный был литератор, подаренный вам Франкфуртом-на-Одере.

Но – к фактам. Полтора часа назад на КПП при выезде на берлинский автобан младший чин по фамилии Долбонос путем обстрела затормозил подозрительную легковую машину марки BMW. Долбонос гневно передергивал затвор, выбрасывая гильзы: не дать уйти врагу! Шпиону-диверсанту! Садил сблизи и с наслаждением злобным слышал, как прошивают пули фрицевский металл: врешь! Не уйдешь! Потом он перезарядил винтовку и подбежал к машине: "А ну, выходи! Руки вверх!" – "Да тихо ты, мудак, – снутри ответил ему шофер и снова вклинился промежду спинок: "Товарищ старший лейтенант, вы живы? Товарищ старший лейтенант?.."

На заднем сиденье, под шинелью, пластался офицер.
Он был еще не мертв.

Его звали Сергей Александрович. Ожидаемому со дня на день сыну он приготовил имя Александр. Не только в честь будущего деда, но и чтобы – Александр Сергеевич. Как Пушкин. Полчаса назад он, содержа ладонь на животе жены, заверил, что вернется послезавтра: "Ты избегай волнений, ладно? И, Бога ради, Сашку береги".

Не лед то был, а Дьявол, отыгравший у нас отца; занос же разрешился в пользу сына – и у Курта, обретшего сцепление с дорогой, враз отлегло от сердца. Большего, увы! мы сделать не могли, а посему, вдыхая тлетворный аромат бензина, пассивно полетели в черной машине по направлению к комендатуре, где женщину ждала заведомая ложь, что "будет жить!" Наутро, в госпитале, будущая мать была обманута и умирающим: "Я выкарабкаюсь. Вот увидишь. Роди мне только Сашку..." С этой мольбой и умер – офицер поневоле, сугубо штатский человек из Питера, специалист по наведению мостов.

Деваться было некуда – и он родился, бессмысленный младенец мужеского пола.

В чужой стране, в холодной комнате, они лежали на мраморном столе втроем: обоссанный, парной комок орущей красной плоти, суровый пистолет "ТТ" и урна с прахом.

Вот так мы и начнем разгадку своего сюжета.

Он возвращался, его трясло. Ни души, вдоль улицы стояли запаркованные на ночь троллейбусы, деревья в парке исходили капелью, перед глазами все сверкало, переливалось и было хлипким и хлюпало, ботинки мокрые насквозь, он возвращался под мглистым излучением фонарей, а выше – над уснувшей уже столицей, обреченной на неразгаданные сны – черно было и непроглядно. Вот так мы и начнем. Он превратился в пепел; я, быть может, выкарабкаюсь. И шлепал по бесputью тающему. Топь, наводнение. Как перезамороженный холодильник, Москва вдруг потекла: оттепель среди зимы.

Слыша ее, подбегающую в шерстяных носках, он стоял перед дверью. Сейчас она: "Ну, как?" А он с иронией: "Нет, я – не Байрон. Но усну сегодня знаменитым..."

Распахнулась дверь, и Эсперанца задыхаясь:

– Идем скорей.

– А что случилось?

– Идем. Изгнали Солженицына!

Он захлопнул дверь плечом. Коридор этой квартиры, темный и длинный, сворачивал налево, в ослепительную кухню, где посреди на табурете сидел Козлов – уже на взводе. У себя на коленях он держал "Спидолу" с разбитым корпусом и выдвинутой к потолку антенной. Забивая голос диктора, подвывала глушилка.

– Вот так-то, брат Серега, – сказал Козлов. – Извергнули Исаича!.. Давай? С морозцу в самый раз.

Заодно с транзистором Козлов принес бутылку.

– Какой "морозец"? – машинально пробормотал он, стаскивая шапку. – Растаяла столица.

– Теперь замерзнет! – пообещал Козлов, отмеривая по стаканам. – Вожди Союза, они народ крутой. Но тоже и с разбором: могли ведь и не в Бундес, а в Потьму загнать. Юрок, наверно, Леньке, отсоветовал. Ты как считаешь?

– Никак он не считает, – вмешалась Эсперанца. – Он в шоке.

– Аналогично и со мной! Являюсь, значит, своевременный и трезвый. А она мне, Фирка, как шарахнет по мозгам! Я сразу повернулся и за угол. В отдел. Там дверь уже железом накрест. Ну, что тут делать? Тормознул таксиста. "Есть водка?" – "А червонец есть?" У меня всего трояк. "Побойся Бога, – говорю, – на горе наживаться!" – "Что у тебя за горе?" – "Не у меня: у н а с! У русских. Ты русский человек?" Он было залупнулся: "Не видишь, что ли?" – "Тогда и у тебя" – и, в свой черед известие ему промеж рог! Что, мол, Иван Денисовича реваншистам выдали. А он читал, он знает! К тому же тесть в Рязани. "Ну, это, лля! – он говорит, – как если б Сталинград не мы – они у нас отняли. Национальный траур только объявить". Ну, и раз так: сошлись по себестоимости. Что, отошел? Тогда держи.

Он взял и стиснул грани.

– За что?

– А я скажу. З а в о з в р а щ е н и е д о м о й. Чтобы мы все вернулись, я имею: ты, я, она, Иван Денисович... Когда-нибудь. До дна!

Спустя неделю об этом знала вся Москва. Приближаясь к Дому атеизма, он невольно усмехнулся: невдалеке был припаркован микроавтобус "Бюро добрых услуг". Зал был уже полон. И угрюмо молчал. Табу на имя изгнанника никто, казалось бы, официально и не объявлял, но оно как-то само возникло и утвердилось, стоило собраться вместе. Только раз оно было нарушено, и то из президиума, откуда перед началом донеслось нервозное предположение "национально мыслящего" критика К***: "О Солженицыне вопроса, видимо, не избежать... И что тогда?" – "Ответ давать, Вадим", – сказал авторитетно его сосед, спокойный, как крупье. Потом с трибуны зачитали лекцию. Началась она так: "С кем вы, мастера культу-

ры?" Взволнованный вопрос основоположника социалистического реализма в наши дни актуален, как никогда..." Через сорок пять минут (уставившись в циферблат своих золотых швейцарских часов, изначально принадлежавших Домингесу, самому знаменитому из тореадоров XX века, молодой писатель обдумывал свой выбор) было предложено задавать вопросы. Но вопросов ни у кого не было. Всем все было ясно. Даже микроавтобусу, который, осознав, что услуги не понадобятся, исчез до конца занятий.

Было жутко холодно. И на этот раз из Дома атеизма все расходились молча и поодиночке. Только снег под подошвами протестующе взвизгивал.

– Эльвиры сегодня не было, – ни к кому в особенности не обращаясь, нарушил он затянувшуюся паузу. В присутствии Петрова эти паузы сводили общение к каким-то обрывкам – надуманно-фальшивым и мучительным. Однако если б не Петров, они бы так и не узнали, что, несмотря на поздний час, правомочные люди имеют возможность расслабиться за стойкой коктейль-бара, уютно затаившегося на одном из предпоследних этажей отеля "Россия". Коктейль "Московский" оказался крепок. Пошевеливая соломинкой оплывающие кубики льда, он посмотрел в окно: почти интимно, ночниками, светили близкие звезды Кремля, а над ними – словно бы поеживаясь – по-весеннему несмело обнажились небесные; и он подумал вслух.

– Эльвира? – поднял голову Русских. – Почему не знаю?

– Ну, как же? Та блондинка.

– Блондинка? Еще интересней. Искусственная?

Он подумал.

– По-моему, от природы.

– Этих предпочитают джентльмены. Меня же лично заводят крашеные. Причем, не первой свежести, а этак двухнедельной. Чтоб от корней темнело. Они, как правило, уступчивы до нельзя. Эх, пергидрольные мои! (Петров не реагировал.) У Хема – помнишь? Ге-ни-альнейший рассказ. Нет, не The Killers. Другой. Ну, как же он?.. Скажи мне, западник?

Петров оспорил сбоку:

– Какой он западник? Юргенен – он наш.

– Она еще роман писала, – заклинился Юргенен. – Исторический. Единственная, кто еще не обсудилась.

– Такая – не от мира сего, но себе на уме? Ну, помню, помню. Далась тебе эта фригда! не пришла и не пришла. Она уже с зимы не ходит.

Петров не выдержал:

– И не придет.

Всем корпусом он повернулся к инструктору по литературе.

– Откуда вам известно?

– Только чтоб между нами, да? – Отложив соломинку, Петров проглотил коктейль и вытолкнул в стакан обратно кубик льда. – Ее убили.

– Эльвиру?

Петров кивнул.

– То есть как – "убили"?

– Зверски.

Вокруг было уютно. В тишине далекий бармен бережно перевернул страницу журнала "Тайм". На этот раз нарушил паузу Русских:

– Что означает в наше время "зверски"?

– Детали? – Петров подвигал желваками. – Они не для печати. Лыжники ее нашли в лесу. Труп, то есть. Разъезженный в лепешку протекторами "Волги". Удалось установить, что перед этим ее насиловали и глумились. Группой. В том числе, при помощи бутылки из-под шампанского. Французского – может, из "Березки". Кто? Неизвестно. Есть версия: была завязана с какой-то мафией. Но вот с какой? Сегодня имя им, как говорится, легион. Мотив там был: отсутствие московской прописки. Ей могли пообещать устроить, естественно, за тысячи. А там... Но тут уже, как говорится, область белых пятен. С черной дырой посреди. Короче, следствие зашло в тупик.

– А роман?

– Никаких бумаг не нашли. Вообще ничего. – Петров снял темные очки и энергично растер подглазья, преждевременно набрякшие. – Одно мне ясно: за этим делом новый социальный тип. Нэпман, что ли, вновь прорезался? Потребители, наслажденцы – н-ненавижу. Эх, вернуться бы в те годы: "Ваше слово, товарищ Маузер!"

Русских осведомился:

– По основной специальности вы кто?

– Я? Я юрфак кончал, – с достоинством ответил инспектор по литературе и – дужками назад – надел свои "макнамары". – Только, прошу вас, никому. Эльвиру имею в виду. Меня предупреждали... Во избежание страстей.

– Какие уж там страсти! Даже я, с моей визуальной памятью на блондинок...

– Так что: вот так. – Петров смотрел в окно. – Вот вы все: "37-й год, 37-й год!" А звезды эти, между прочим, именно в том году зажглись. На Спасской, на Сенатской...

Звезды озаряли красным указанные башни восточной стороны Кремля. С в е т м и р а. Но пока еще не всего.

Русских сказал учтиво:

– Курьезно. Я не знал.

– Мало кто знает. Афишировать не принято. У нас же нынче все с оглядкой: что Запад скажет. Себя сами стыдимся. Но ничего! Придут иные времена, взойдут иные имена. – Недобро двинув твердо-вороненой щекой, он допил растаявший лед. – Есть мнение, и даже предположение... Не против? В смысле повторить?

Швейцарские часы напоминали, что сроки вышли.

Коллеги отказались.

Все трое вышли из отеля и остановились в зоне света. Петров был в модном кожаном пальто. Он поднял воротник.

– В какую сторону, литература?

Ей было, разумеется, в другую.

"Москва" отказала не мотивируя, "Аврора" тоже, "Наш современник" за стилистическую несовместимость", "Дружба народов" за "солженицыновские интонации", за то, что "много пьют" и "отталкивающе физиологично рожают" – и год прошел. С концом зимы возникли надежды в "Студенческом меридиане" и "Литературной России". Обе внезапно оправдались в начале апреля: "Ставим в план. Считай, что состоялся!" Дебют был неминуем, оставалось дожидаться. Но эта неизбежность была уже не в силах хоть что-то воскресить. Слишком далеко зашел процесс. Настолько, что возникнуть предстояло мертворожденным. Увы. Об этом, впрочем, никто не знал. Кроме него.

Было тепло и поздно. Вместе с Минераловым (он же Русских) они шли вверх по улице имени автора романа "Мать" и говорили о концовках. Потом и об оргазмах, только в порядке исключения, конечно, дающих "много плода", но как-

никак, а мы с тобой обязаны тем стародавним, растворившимся уже в огромной дыре небытия – как говорят французы – "малым смертям". Обязаны, не спорю. Только чем? Жизнью, мой друг. Историей нашей.

– Свою, ты помнится, в "Вечерке" назвал "Веселой".

– Читал?

– Имел удовольствие.

– Мой самый первый рассказ. Из написанных и, к сожалению, из напечатанных. Не тронули ни строчки, между прочим. Вот только, тут ты прав, название сменили.

– А было?

– Антонимично. "Грустная".

– И ты согласился?

– А ты бы нет? Да хоть и чертом назови, но дай в набор.

Шагая, он молчал.

– В известном смысле, – сказал задетый за живое Минералов, – творцы Истории ведь все равно не мы. С членским билетом или нет – такие же ее объекты, вон как они. Надеюсь, ты не претендуешь на роль Меча Господня?

Вместо ответа он пнул по водосточной трубе. Несильно – но от раструба вверх труба вдруг загудела, как органная. Гул нарастал, этаж за этажом проталкиваясь к крыше. Он поднял голову. Попутчик крикнул, отскочил, а он увидел собственную смерть. Из-под карниза, отцепившись, всей черной готикой сосулек в зрачки ему летел огромный сталактит. Откуда он? весной. Ну что ж, закономерно. 27. Фамилию теперь давать придется в рамке. О Господи, моя любовь! В лицо морозно дунуло, и он закрылся локтем. И вовремя: его ударило. Но снизу – взрывом. Осколками.

– Кровь, – указала женщина. Он взял протянутый платок и приложил ко лбу.

Выдергиваясь из стены, труба гремела и тряслась – сквозь жесть проталкивалось что-то, упорное и злое. Потом, как в пароксизме, на тротуар стал извергаться лед. В отличие от аспидно-черного с изнанки фундамента, промазавшего по герою, законсервированный до весны, выбрасывался под ноги кристаллически-чистым. Не лед – берлинская лазурь. Неистощимо-обреченные содрогания явно переходили границы пристойности, что начинало вызывать соответствующие комментарии со стороны опомнившихся полуночных гуляк.

Мюнхен, 1986



новые стихи и песни

* * *

Век двадцатый явился спасателем,
Потому и гордимся мы им.
Было трудно в России писателям —
Достоевским и разным Толстым.

Были все одиноки, разрознены
И не знали, куда им идти,
Да и время зловредными кознями
Поперек становилось пути.

И на грани почти вымирания,
Где-нибудь в захолустной глуши
Ни защиты тебе, ни внимания.
Исповедуйся, знай, да пиши.

Чужды были им сборища шумные,
Обходилось без творческих уз,
И поэтому головы умные
Их собрали в единый Союз.

Все вдруг ожило, все вдруг устроилось,
Все наладилось — только бы жить,
И писателей сразу утроилось,
Так что есть кем кого заменить.

И как будто в счастливом раешнике
Замелькали — спасения нет —
И начальники, и их помощники.
Что ни комната, то кабинет.

И шоферы, и замы исправные,
Секретарши и секретари,
И писатели, самые главные
И не самые, черт их дери.

В главном зале под коркою глянцевой,
Чтоб никто отвертеться не смог,
Перед кровными и иностранцами
Вожделенный разлегся пирог.

И забывши все мелкое, личное,
Каждый сам, оттеснивши врага,
Ищет место себе поприличнее,
Чтоб урвать от того пирога.

Я не знаю, на что и рассчитываю,
Но с большим удивленьем гляжу,
Как я сам от той корки отщипываю
И с надеждой туда прихожу,

Где на радость миллионам читателей
Будто выйдя из пены морской,
Министерство Союза писателей
Возвышается на Поварской.

* * *

Официант Иван Николаевич ненавидит посуды звон.
Все равно ему — оловянная, серебряная, золотая.
И несдержанность постояльцев оборачивается злом,
И тускнеет шевелюра его завитая.

Шеф-повар Андрей Митрофанович ненавидит пышную снедь.
Ему бы селедки да хлеба кусочек,
А супруга ему пророчит голодную смерть
И готовит ему повкуснее. А он — не хочет.

Она идет к нему с блюдами, как на свидание.
Но пончики портятся, прокисает рагу,
И лежат нетронутыми караси в сметане,
Как французские гренадеры в подмосковном снегу.

Полковник Сергей Поликарпович ненавидит шаг строевой.
Человеку нужна раскованная походка.
Но он марширует, пока над его головой
Клубится такая рискованная погодка.

Я, нижеподписавшийся, ненавижу слова.
Слова, которым не боязно в речах поизноситься.
Слова, от которых кружится говорящего голова.
Слова, которые любят со звоном произноситься.

Они себя кулачками ударяют в тощую грудь,
Захлебываются, выкрикиваются трубно.
Слова, которым так хочется меня обмануть,
Хотя меня давно уже обмануть трудно.

* * *

О Володе Высоцком я песню придумать решил.
Вот еще одному не вернуться домой из похода.
Говорят, что грешил, что не к сроку свечу затушил.
Как умел — так и жил. А безгрешных не знает природа.

Ненадолго разлука — всего лишь на миг, а потом
Отправляться и нам по следам по его по горячим.
Пусть кружит над Москвою охрипший его баритон,
Ну а мы вместе с ним посмеемся и вместе поплачем.

О Володе Высоцком я песню придумать хотел,
Но дрожала рука, и мотив со стихом не сходился.
Белый аист московский на белое небо взлетел,
Черный аист московский на черную землю спустился.

АРБАТСКОЕ ВДОХНОВЕНИЕ

Упрямо я твержу с давнишних пор:
Меня воспитывал арбатский двор,
Все в нем от подлого до золотого,
А если иногда я кружева
Накручиваю на свои слова,
То это от любви. Что в том дурного?

На фоне непросохшего белья
Руины человечьего жилья,
Крутые плечи дворника Алима.
В Дорогомилово из тьмы Кремля,
Усы прокуренные шевеля,
Мой соплеменник пролетает мимо.

Он маленький, немытый и рябой,
Но выглядит растерянным и пьющим,
Но суть его — пространство и разбой
В кровавой драке прошлого с грядущим.
Его клевреты топчутся в крови.
Так где же почва для твоей любви? —
Вы спросите с сомненьем, вам присущим.

Что мне сказать? Я только лишь пророс.
Еще далече до военных гроз,
Еще загадкой манит подворотня,
Еще я жизнь сверяю по двору
И не подозреваю, что умру,
Как в том не сомневаюсь я сегодня.

Что мне сказать? Еще люблю свой двор,
Его убогость и его простор,
И аромат грошового обеда,
И льну душой к заветному Кремлю,
И усача кремлевского люблю,
И самого себя люблю за это.

Он там сидит, изогнутый в дугу,
И глину разминает на кругу,
И проволочку тянет для основы.
Он лепит, обстоятелен и тих,
Меня, надежды, сверстников моих,
Отечество — и мы на все готовы.

Что мне сказать? На все готов я был.
Мой страшный век меня почти добил.
Но речь не обо мне, она о сыне.
И этот век не менее жесток,
А между тем, насмешлив мой сынок,
Его не облапошить на мякине.

Еще пока он тоже хил и слаб,
Но он — страдалец, а не гордый раб,
Не безопасен и не безоружен,
А глина ведь - не вечный материал,
И то, что я когда-то потерял,
Он под стеной кремлевской обнаружил.

ПАМЯТИ МОЕГО БРАТА ГИВИ

На откосе, на обрыве
Нашей жизни удалой
Ты не удержался, Гиви,
Стройный, добрый, молодой.

Кто столкнул тебя с откоса,
Не сказав тебе «Прощай»,
Словно рюмочку с подноса,
Словно вправду невзначай?

Мы давно отвоевали.
Кто же справился с тобой?
Рок ли? Время ли? Молва ли?
Вождь ли, мертвый и рябой?

Он и нынче, как ни странно,
Похоронен и отпет,
Усмехается с экрана.
А тебя в помине нет.

Глуше в дебрях Магадана
Лай сторожевых собак,
Но твоя большая рана
Не рубцуется никак.

И кого теперь с откоса
По ранжиру за тобой?
Спи, мой брат беловолосый,
Стройный, добрый, молодой.

Когда я опубликовал роман «Путешествие дилетантов», один из моих друзей сказал, что, если бы этот роман был написан на современную тему, то его следовало бы назвать «Прогулки фраеров».

В буквальном переводе с немецкого «фраер» — это «жених», «пижон», а в ходовом смысле — мнение обывателей об интеллигентном человеке.

По прихоти судьбы — расносчицы даров
В прекрасный день мне откровенья были.
Я написал роман «Прогулки фраеров»
И фраера меня благодарили.

Они сидят в кружок, как пред огнем святым,
Забытое людьми и Богом племя,
Каких-то тайных дум их овевает дым
И приговор нашептывает время.

Они сидят в кружок под низким потолком,
Освистаны их речи и манеры,
Но вечные стихи затверженны тайком
И сундучок сколочен из фанеры.

Наверно, есть резон в исписанных листах,
Затверженных местах, и в горстке пепла.
О, как сидят они с улыбкой на устах,
Прислушиваясь к выкрикам из пекла.

Пока не замело следы на их крыльце
И ложь не посмеялась над судьбою,
Я написал роман о них, но в их лице
О нас, ведь все, мой друг, о нас с тобою.

Когда в прекрасный день разносчица даров
Прошла в мой тесный двор, бродя дворами,
Я мог бы написать, себя переборов,
«Прогулки маляров», «Прогулки поваров»,
Но по пути мне вышло — с фраерами.

РИМСКАЯ ИМПЕРИЯ

Римская империя
Времени упадка
Сохраняла видимость
Твердого порядка.
Цезарь был на месте,
Соратники рядом.
Жизнь была прекрасна,
Судя по докладам.

А критики скажут, что слово «соратник»
Не римская деталь.
Что эта ошибка всю песенку смысла лишает.
Может быть, может быть, может, и не римская, не жаль,
Мне это совсем не мешает,
А даже меня возвышает.

Римляне империи
Времени упадка
Ели, что достанут,
Напивались гадко.
А с похмелья каждый
На рассол был падок.
Видимо, не знали,
Что у них упадок.

А критики скажут, что слово «рассол»
Мол, не римская деталь,
Что эта ошибка всю песенку смысла лишает.
Может быть, может быть, может, и не римская, не жаль,
Мне это совсем не мешает,
А даже меня возвышает.

Юношам империи
Времени упадка
Снились постоянно
То скатка, то схватка.
То они в атаке,
То они в окопе,
То вдруг на Памире,
А то вдруг в Европе.

А критики скажут, что «схватка», представьте,
Не римская деталь.
Что эта ошибка всю песенку смысла лишает.
Может быть, может быть, может, и не римская, не жаль,
Мне это совсем не мешает,
А даже меня возвышает.

Римлянкам империи
Времени упадка,
Только им, красавицам,
Доставалось сладко.
Все пути открыты
Перед ихним взором:
Хочешь — на работу,
А хочешь — на Форум.

А критики хором: «Ах, Форум, ах, Форум,
Вот римская деталь».
Одно лишь словечко, а песенку как украшает.
Может быть, может быть, может быть, и римская, а жаль.
Мне это немного мешает
И замысел мой разрушает.

ПЕСЕНКА АРБАТСКОГО ЭМИГРАНТА

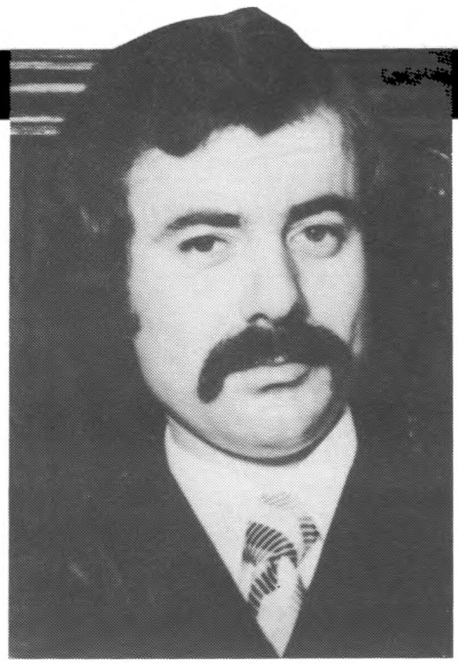
Я выселен с Арбата — арбатский эмигрант.
В Безбожном переулке хиреет мой талант.
Кругом чужие лица, враждебные места,
Хоть сауна напротив, да фауна не та.

Я выселен с Арбата и прошлого лишен,
И лик мой оккупантам не страшен, а смешон.
Я выдворен, затерян среди чужих судеб,
И горек мне мой сладкий, мой эмигрантский хлеб.

Без паспорта и визы, лишь с розою в руке,
Слоняюсь вдоль незримой границы на замке,
И в те, когда-то мною обжитые края,
Все всматриваюсь, всматриваюсь, всматриваюсь я.

Все те же тротуары, деревья и дворы;
Но речи не сердечны и холодны пиры.
Там так же полыхают густые краски зим,
Но ходят оккупанты в мой зоомагазин.

Хозяйская походка, надменные уста,
Ах, флора там все та же, да фауна не та.
Я — эмигрант с Арбата, живу, свой крест несу.
Заледенела роза и облетела вся.



Геннадий Вальдберг

человек проходит как хозяин...

рассказ

ВМЕСТО УЖИНА МИШКА ПРИПЕРСЯ В КЛУБ. САДАНУЛ НОГОЙ ДВЕРЬ, ТАК ЧТО ПЕТЛИ ВЗВИЗГНУЛИ, БУХНУЛСЯ НА СКАМЕЙКУ И ПОЧУВСТВОВАЛ, КАК ЗУБЫ В МЕЛКОЙ ДРОЖИ СОШЛИСЬ.

ВОТ ВЕДЬ КАК ПОЛУЧАЕТСЯ! НАДУЛИ ЕГО, ЗНАЧИТ!..

"Ты с этой бумажкой можешь в гальюн!.. А сейчас в библиотеку катись! Стены расписывай!"

А это вот видел! – чуть не заорал Мишка.

Но врет. "Заорал" – это он сейчас придумал. И как огрызается, и кукиш Мартынову тычет. А там, на ковре, как салага последний, только глазами хлопал. А чего, спрашивается, хлопал? Чему удивлялся? Будто здесь хоть когда-то иначе делалось?..

На сцене сидел Гриша Каз. Солидный, ухоженный. Полоска усов над припухлой губой. И такие же пухлые лычки на каждом погоне. Блестят, как уголки на аккордеонных мехах. Аккордеон Гриша держал с какой-то брезгливостью, мол, не тот инструмент, и клавиши перебирал нехотя, будто одолжение делал. А у микрофона два салажонка. Руки по швам, и дружно так, дрожащими голосами:

Я другой такой страны не знаю,
Где так вольно дышит человек...

Один из салажат не дотягивал, словно боялся чего-то, и Гриша его подгонял:

– Здесь ля, дурачье! Надбавь немного!

И салажата старались надбавить. Этакие крольчата на задних лапках.

А Гриша опять:

– Бемоль я, что ли, брать буду?! – и снова по клавишам с той же брезгливостью.

От Москвы до самых до окраин,
С Южных гор до Северных морей...

Но моря как-то плохо представлялись, хоть до них и рукой подать было. Зато рыхлая рожа Мартынова с бородавкой на обочине носа и желтой слезой на провисшем веке... Мишке казалось, что у него желчь глазами выходит.

– Хитрить вздумал? – поигрывал карандашом Мартынов, то тупым, то острым его концом в бумажку его воткнет. – Думаешь, служил – всех дурачил, так и дембельнуться на дурака выйдет?! А вот врешь, служивый. На хитрую жопу у нас кой-чего с нарезкой имеется. Враз резьбу всю попортим! – и бумажка как-то сама в корзину упала.

А слеза хоть бы что: туда-сюда по веку катается.

– Уговор-то какой у нас был? Чтоб домой-то поехать – заслужить еще надо. Вон бригада Гунько – забор новый ставит. Мамедовцы – теплотрассу кладут. А ваше благородие – пальчики, небось, отморозит?

– Я тоже работал, – сказал Мишка. Но гнусно сказал. Тут кулаками об стол, чтоб стекла вдребезги; а он – будто милости просит. – Вы сказали: аккорд, – и я копировальный станок для Управления сделал. Вот и капитан Загородников записку прислал...

– Какую записку? Не вижу никакой я записки...

Человек проходит, как хозяин!..

– надрывались салажата. Этот "человек" им уже поперек горла стоял. Но на первой скамейке сидел сержант, и под его грозным взглядом они тянули снова и снова.

"Хозяин чего? – почему-то подумал Мишка. – Мартынов – понятно. А мы?.." Надо было уйти. Но что-то удерживало. Вообще-то, он с Гришей пришел поделиться. Иначе весь гной в душу вытечет. Но чем Гриша ему поможет? Да и чем тут помочь? Терпи, скажет, немного осталось. Недели какие-то... А дело ж тут не в неделях. Он раньше ведь как рассуждал: лишь конец замаячь – что было, что не было – все разом спишется... А теперь получалось, не списывается. Смерзлось, как в нужнике, и носить – силы нет, и оттаивать – мерзость...

А еще ведь вчера себя уговаривал. Мол, ничего, перемелется. Письмо домой написал. Чтобы елку купили. Только не наряжайте, я сам. И Лене обязательно звякните. Плевать, что не ждет. Я уже простил. Но этот Новый год все равно пусть уступит. Отпразднуем – и разбежимся. Будто не было этих трех лет. Ничего не было.

И Мишка представил свой дом. Столько раз представлял... Две ступеньки, обмерзшие льдом, и дворничиха Клава снег у подъезда раскидывает. А в подъезде тепло, кошатиной пахнет... И Мишка бежит по лестничным маршам, наверх и наверх; давит кнопку звонка...

Мишка – дурак!

– это Лена, когда еще в школе учились, и Мишка с ее братом, Вовкой, подрался, гвоздиком выцарапала.

...а на звонок долго не откликаются. Он звонит в пустоте, ошалелый, испуганный. Пока, наконец, Мишка слышит, щелкает выключатель – и золотистая лужица света вытекает под дверью. Потом мамины шлепанцы – щ-щик, щ-щик – как кошачьи коготки по линолеуму. И замочный язык, в два приема, гильотиной выходит из паза...

Но дальше почему-то ничего нет. Мама и брат... Но их уже Мишка не видит. Только себя, как стоит в пустоте и будто в замедленном фильме срывает погоны. Трещат лоскуты, расползаются нитки, и, невесомая, кувыркается в воздухе пуговица. И все ложится как будто в песок. Ни единого звука.

– Завтра еще попоем, – выпустил воздух из мехов Гриша. – После завтрака приходи.

Салажата спрыгнули в зал, и сержант повел их на выход.

– Чего там сидишь? – щелкнул замками.

Но Мишка не ответил. Прошел по проходу и сел поближе.

– Ну и дал он тебе "обходной"?

– Вот он что дал!

– И чего говорит?

– А все то ж. В библиотеку иди. Ленина, говорит, во всю стену малюй. Чтобы как во Дворце съездов было.

– А ты?

– Ничего. Как мудак вот сижу. Вперед чтоб не рыпался.

– Без аккорда все равно б не уехал.

– А вот ты и врешь! В приказе о том не написано.

– Да видел ты этот приказ?

– В газете печатали!

И тут Мишку вдруг повело:

– А знаешь, я к прокурору пойду!

– Какому еще прокурору?

– Военному. В комендатуре бывал – так соседняя дверь. Своими глазами читал: "Военная прокуратура". Для чего-то ж написано?!

Но Гриша только усы разгладил, пальцем туда и сюда:

– Может, того, в Кремль сразу?

– А хоть бы и в Кремль! Тычут тебя тут "Уставами", так и эдак выкручивают. А мы – будто грамоте не учили.

– Зря обижаешься, – слез со сцены Гриша. – Но сам посуди: как ты в эту прокуратуру пойдешь? Ведь она, небось, только днем работает. Значит, в служебное увольнение надо, чтоб маршрут был указан. А кто тебе такое увольнение даст? Мартынов? Своей же рукой "Прокуратура" напишет? Мол, я на вас жаловаться иду. Подмахните, пожалуйста.

– Дай сигарету, – порылся в кармане Мишка. – Свои куда-то девал.

Гриша – холодная голова, верно всегда рассуждает. Но именно это и злило.

– Чего же предлагаешь?

– Сначала поспи, – выпустил колечко Гриша (лихо у него получается, одно в одно, будто круги по воде). – А утром еще денек из календаря вымараешь, все к дембелю ближе. Время теперь на тебя работает. А там и в библиотеку можно...

– Не-ет! – опять набычился Мишка.

Но Гриша не слушал:

– Мартынова, один черт, не объедешь. Только измором взять можно. Слыхал про итальянские забастовки? Вроде, работаешь, а дело так, меж пальцев течет... Ведь как получается: в Управлении ты больше не числишься – и как наряд закрывать: где дни достанешь? Один-два, положим, не станут связываться. А больше – за тунеядство притянут. А в библиотеке все же тепло. Малюй помаленьку...

– Зачем же тогда я копировальный станок для них делал?

– А Новый год хотел дома встретить. Думаешь, не понимаю? И они понимают. Только тут за денечками выручennыми можно похуже в историю вляпаться...

– Не в денечках дело! Он мне душу изгадил. Всю, как есть, дерьмом вымазал. И теперь промолчу – вроде как спасибо сказал!

– А ты как хотел? Чтоб тебе? Мол, спасибо, Мишенька Манфред, что своим беззаветным трудом Север помог нам освоить, так сказать, приблизил светлое завтра всего человечества... Да ты на них помолись-ка сперва, что вообще домой отпускают, что в три года укладываются, а 10-15 не сделали. А потом рассуждай.

И Мишка смолчал. Что тут ответишь?

– Я тебе очень просто скажу: рыбка где глубже любит, даже если в вонючую лужу пустили. Вот пристроился в Управление, чертил там чего-то, станок какой-то выдумывал – худо, тоска, а все траншеи не нюхал. Ну а что с дембелем промахнулся – не все же выигрывать. Это даже честности ради, пусть хоть по мелочи отыграются. Потрафят, так сказать, ущемленному чувству. Гегемоны все-таки. А то тут какой-то без рода без племени.

– А если все же пожаловаться? – не хотелось отступать Мишке, хотя уже чувствовал, уступает. И даже если сейчас Гриша перестанет его отговаривать – он уже сам все доделает. Столько раз уже было.

– Кому? – раздавил окурок и затолкал под скамейку Гриша. – Ну, положим, доберешься ты до этого прокурора, если прежде патруль не накроет, и что ты ему расскажешь? Что Мартынов слово офицера давал и теперь мундир свой позорит? Да он только со смеху лопнет!

– А, может, к Окулову, начальнику Управления?..

Однако Окулова Гриша меж ушей пропустил, но как-то вдруг посерьезнел и огляделся: никто ль не подслушивает? – и сразу же тихо, совсем другим голосом:

– Если уж совсем невтерпеж, – и еще раз в углы посмотрел, – то я бы с лейтенантиком, ну, из Особого, потолковал...

Но Мишка только головою затряс. Не-ет, в Особый он сам не пойдет.

– Тогда не ропщи, – развел ладонями Гриша, и как-то даже повеселел, будто камень с плечей уронил. – Лучше часика через два приходи. Мы тут репетировать будем.

– "Человек проходит, как хозяин"! – огрызнулся Мишка.

– Нет. Это для самодеятельности. А мы рок-н-рольчик один вчера сбацали! Джон Леннон от зависти лопнет!

– "В нашем доме поселился замечательный сосед"! – все же хотелось побольней уколоть Гришу Мишке.

– Да что ты заладил? "Соседа" замполит любит. А мы "Желтую подводную лодку" разучиваем. А Генка Жуков – знаешь, как он "Гел" поет? Слезу прошибает. Эх, ничего ты не слышал!

Но Мишке уже и не хотелось слушать. Прошел по проходу, постоял в дверях:

– А рыбка-то, знаешь, с головы вонь пускает.

Но сказал тихо.

– Чего-чего? – не разобрал Гриша.

– А так, ничего! – не захотел повторять Мишка. Посмотрел только, как Гриша аккордеон в чехол убирает, распахнул дверь и со злостью захлопнул.

Беер-Шева
28.06.85



игорь бурихин

3

стихотворения

БОЛЬШИМИ БУКВАМИ В.СОН

Борису Вахтину

Умирают, как снятся.
Как давно и не вспоминались.
Краткий аквапланинг – топор в брюшину...
А в т о Б о г о С п а с а е м о!.. Снова ты
В удобной, чуть расслабленной, чтоб внезапней
собираться: куда?! – в утробной
этой позе... После вспомнишь...
Так – резкое

возвращение прогулки в Таврическом
потекшем зимнем саду. Инфарктного
лося вальяжно сплющивает
старость улыбкой... –
Оно,
поддержанное
опытом здешнего страха перед
засыпанием. Увеличенное,
как у страха любви ГЛАЗАГЛАЗАГЛАЗА
ГЛАЗАГЛАЗАГЛАЗА
ГЛАЗАГЛАЗАГЛАЗА
ГЛАЗАГЛАЗАГЛАЗА
ГЛАЗАГЛАЗАГЛАЗА
ГЛАЗАГЛАЗАГЛАЗА
ГЛАЗАГЛАЗАГЛАЗА
ГЛАЗАГЛАЗАГЛАЗА
ГЛАЗАГЛАЗАГЛАЗА
ГЛАЗАГЛАЗАГЛАЗА
ГЛАЗАГЛАЗАГЛАЗА
ГЛАЗАГЛАЗАГЛАЗА
ГЛАЗАГЛАЗАГЛАЗА
ГЛАЗАГЛАЗАГЛАЗА
Не стряхнуть, не отвлечься. Конечно – в голову
лезут хищные федоровцы – реализоваться на темном
стекле... И все же: не закрывая двери – свежей струи
в сон – щели их прихода, прикосновения УКРЕПИТЬСЯ
НА ТЕБЕ – осторожной щели супружеского

сообщения о звонке близкого
приятеля покойного – моего бывшего
приятеля. Но теперь-то мы "все, конец,
слава Богу" в ссоре. И "лучше издали". И который
сам мне снится, второй раз подряд аж – боюсь, боюсь –

все из тех же сомнительных побуждений, что и
в изреченьи ВСЕ МЫ ИЩЕМ ОТЦА. Плюс блядский
совместный опыт. Скажи – советский, и ПРОЧЬ ОТ МЕСТА
КАТАСТРОФЫ. А что до ДРУЖБЫ. С МЕСТНОЙ БЕЗДНОЙ. ПУСТЬ КГБ
НА МЕНЯ НЕ ДРОЧИТ. – Как слабость пешехода к тому, чтоб БЫТЬ

ПЕРЕЕХАННУ. — ТОЧКА. НА ВЫБОР. СТРОФОЙ ИОСИФА.
ИЛИ НА СМЕРТЬ. См.: РЕЧЬ О ПРОЛИТОМ. Ну а в НОЧЬ, ЧТО ПОСЛЕ –
в крыльях бабочки залежалость, и всей БИТВЫ той Сфинкской ВСХЛИП И ВЗВИЗГ...
И "обнимаю, благодарю за книжку. И свою послал. И его
вот выходит"... И обед, что Парижа стоил!.. И ЭТО ЛЬ ВСЕ?!...

Ну а Яша-то?.. НО Я ЖЕ он ГОВОРИЛ... ГОСПОДИ ГОСПОДИ
НА КАКОЙ ТВОЕЙ УКРАЙНЕ И ГОГОЛЬ ТАМ ПОВЕРНУЛСЯ
ПОВЕРНУЛСЯ ОБНАЖИЛОСЬ — ВОТ ТИ РУКОПИСЬ, ЧТО ИСКАЛ
ОБНАЖИЛОСЬ ОБНАЖИЛОСЬ – НУ И ПЛАКАЛЬЩИКИ – ВО ВСЕ КОНЦЫ
СВЕТА — ПЛАКАЛЬЩИКИ И ПЛАКАЛЬЩИКИ И ПЛАКАЛЬЩИЦЫ ЕЩЕ

из ОРФЕЙ ОХРИПШИЙ: ДВА ПОСВЯЩЕНИЯ – И. В. – И. Б.

Днем все выше и выше восходит Август.
В ночь Господня Преображенья
лунный нимб стоочитый Аргус
не устережет до Успенья
Богородицы. А растет златое
то руно, в сетке жил твоих поношенье,
выгнув спину да домиком, да "за то я
не бесплодна!" С подъема ноги до шеи
зеркало метит созвездье: Дева.
Пухнут губы с иконы, аж слово мыльно.
Во Владимирском поглядела
Так всеведуще-неумильно.
Как умильно глядела в Морском Николе.
Как и всякий твой взгляд мне посмертно нужен,
по морям бороздят тем крестом иль в поле
с царским запахом из конюшен.
Спутешествуй в груди! твой под плугом инок,
не касаемо платий твоих в годовых заменах,
все в пути. И все сердится твой подлунок,
плод затменья, знаменьем
края света. Едина экскурсоводка
эмигранта, что в отпуст за руль берется.
И стены твоей профиль воздушный круглится кротко,
как перегородка до небесного в убыль сердца.

Пой эмиграцию свою –
наипроворнейшую из граций
и чудо света, сворачивающегося
в слезу величиной с изумленный
глаз, сухой земле той на пользу.

Сплавляй, как новый Гораций,
в текучие строфы леса и стройку
двух империй – провинций короткой памяти
Рима. Глубже копай, оправдывай
грядущую катастрофу.

Гляди сквозь призму на рост Тристанова
бесконечного аккорда, как из зерна
исход желанья. Дели Овидиева
прелесть нытья, кувыркаясь в царском
танце Давида. Познай, что близость

в приближении, увы, ко всему,
что не близко. И все же войди к Вирсавии
в дом напротив, услышав, как дрогнут сферы
обладания Полнотой под Божественным
диссонансом ярости. Кукарекай,

как свою, сукин сын, удачу, стучи по бедрам,
будто бы не камень. В гнезде осиновом
от щекотки глаз не протрешь: настолько
по-российски, что ранен, убит, ужален,
увлажнен и ужасен воздух случайным
у з н а в а н и е м!

ЗА АВАРИЙНЫМ АВТОМОБИЛИСТОМ

Андрею Амальрику

Летит в лицо всей пятернею лист.
Летит с холма, вдыхая землю, авто.
борзая в лог. Взрывает террорист
свой фейерверк на поворотах. Ах, ты

над головой, куда ее Шагал,
зависла в небе красная корова.
И ты, что в рану, перст в эфир вогнал:
весь мавзолей египетского рева.

Привет тебе, ругательный Ноябрь!
Привет-привет, многоголосо-сбродный
все тех же Страций Демон, что Наямбл,
"не дорожа любовию народной".

Пой, телепат! на ящик с ноябрем,
на разноцвет из-под-шубейных платьиц,
на бочки, что прокатывают в гром
аплодисментов – бабочкой из Пятниц,

накликанная вечно нараспев,
спешит зима – защитницей не лучшей
бездомных пар – одной из Параскев –
архистратигом здешних революций.

Цепляйся тверже за баранку бедр,
хлобуча газ ей до куда незнамо,
не спи хо хо ху ху до до жник бодр,
чтоб не крутила вечное динамо.

Спеши в Мадрид!, а привязалось: МЫ
(такой прокол) ИДЕМ ПО УРУГВАЮ...
О грузовик, о ворон, ворох тьмы
с древком знамен ночного перегноя.

Не уклоняйся – ветровое – в лоб.
В железных складках – отворяй ворота –
она считает судороги влет,
в шум, в треск, в пролив по лесу вертолета.

Еще на Ильмень вынесет Шелонь,
приподнимая в небесах просторных.
И облака военный эшелон
купают в ладан праздников Престольных.

Пади, Коро́стынь, на глаза! Падет
зерном той почвы, где дожженно шинам,
твой сын в подол, стелящийся из-под
беленой церкви за Большим Ужи́ном.

ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ПРАВДА И ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ВЫМЫСЕЛ

(Из наблюдений над "Красным колесом А. Солженицына)

Жанр "Красного колеса" – еще не завершенной эпопеи русской революции – настолько своеобразен, что ни в отечественной, ни в мировой литературе аналогий не найти. Это – научное исследование, основанное на изучении архивных материалов, мемуарной и эпистолярной литературы, трудов предшественников, устных свидетельств современников. Это и произведение искусства, в котором наряду с историческими действуют вымышленные персонажи, интуиция художника и творческий вымысел сочетаются с документальной достоверностью.[1]

Ни в одном научном труде не найдем мы столь сложных и многогранных портретов исторических деятелей. Ведь историк должен давать точные оценки, делать четкие выводы. И только художник может показать изменчивый, противоречивый мир человеческой души, в которой "благо смешано со злом".

Не имея возможности говорить обо всей портретной галерее, воссозданной Солженицыным в его грандиозной эпопее, остановлюсь лишь на том, как изображен в ней Николай Второй. Рассмотрение этой темы поможет раскрыть метод работы писателя над историческими источниками, выяснить их роль в художественном контексте.[2]

В интервью с Бернаром Пиво на его замечание: "Но вы сурово относитесь к облику Николая Второго..." – Солженицын ответил: "Одно могу сказать, что я не сочиняю его портрет, а очищаю от всевозможных искажений то, что было (...) Я был вынужден проследить почти всю его жизнь, я сделал это исключительно бережно, ни одного резкого шириха, ни одного резкого упрека (...) Он был человек высоких духовных качеств, исключительно чистый человек. И он последовательный христианин. Но – да, он не мог держать штурвал России в такие бурные времена, когда швыряет корабль".[3]

Обратившись к тексту, мы убедимся, насколько сложнее изображенный там портрет императора, нежели эта краткая характеристика. Воссоздавая его облик, писатель следовал принципу, сформулированному устами одного из персонажей "Красного колеса": "Материал истории – не взгляды, а источники. А уж выводы – какие сложатся, хоть и против нас".[4]

* * *

Архитектоника образа Николая Второго чрезвычайно сложна. На страницах эпопеи он появляется сравнительно редко, но почти все время находится в поле зрения читателя: о царе думают и спорят разные персонажи, в исторических обзорных главах говорит сам автор, да и драматические события часто заставляют вспоминать о правителе России. Есть также специальные главы, ему посвященные, где раскрывается его внутренний мир. Писатель создает как бы систему прожекторов, которые с разных точек освещают личность монарха.

Он еще не появляется в первой части "Августа четырнадцатого", где рисуется Самсоновская катастрофа, но гибель Второй русской армии психологически подготавливает нас к встрече с царем. Ведь нельзя не задуматься о виновниках этой трагедии.

Косвенные причины ее обнажаются во второй части "Августа", где центральное место занимает убийство Столыпина. И уже явственно звучит вопрос: кто виноват? Ответ, казалось бы, прост: конечно, убийца – террорист Богров! Но не случайно же (и не раз!) писатель употребляет во множественном числе слова "убийцы", "убили".

Почему стал возможен выстрел Богрова? Потому что он был вдохновлен и поддержан русским обществом. Но почему Столыпин оказался беззащитным перед террористом? Потому что в правительственных и в придворных кругах было известно, что премьер-министр – накануне отставки, что император к нему охладел. На киевских торжествах "Столыпин был унизительно, демонстративно – оттеснен из придворных программ, и уж, конечно, не получил личной охраны – не то что достойной, но – рядовой".[5]

И хотя выстрел Богрова прозвучал в 1911 году, становится очевидным, что причина Самсоновской катастрофы, как и причина Столыпинской катастрофы – неспособность самодержца править страной в ее роковой час.

Убийство премьер-министра рисуется в разных ракурсах. Сперва мы слышим о нем из уст двух убежденных террористок. Потом видим события глазами убийцы. Далее, после обширной обзорной главы, где автор раскрывает значение деятельности Столыпина, рассказ ведется с точки зрения Петра Аркадьевича самого. Затем – с точки зрения Курлова, Кулябко и других полицейских чиновников, по вине которых стало возможным убийство. После этого говорится о реакции разных слоев русского общества, о переживаниях убийцы в тюрьме, о следствии над ним и его казни.

Одна из самых потрясающих глав в эпопее – Столыпин на смертном одре. С чисто солженицынской силой передано здесь, как напряженно, страстно, мучительно ждет умирающий посещения государя: не для того, чтобы проститься и услышать от него перед смертью доброе слово, а чтобы напутствовать его в трудный час, завещать свои планы по преобразованию России. Но царь не пришел. И завершается глава, как и многие другие, наиболее значительные, словами народной пословицы: "Через кого мир свет увидел – того и обидел".[6] Это – как бы суд народа.

В унисон звучит и авторский голос: "Хоронила Россия своего лучшего – за сто лет, или за двести – главу правительства – при насмешках, презрении, отворачивании левых, полулевых и правых. От эмигрантов-террористов до благочестивого царя".[7] И далее, описывая церемонию похорон, автор иронизирует: "Не хватало малости: Государь изволил накануне отбыть из Киева на отдых в Крым".[8] Последнее слово в главе выделено красной строкой: "Убили".

И вот теперь, когда трагическое событие мы увидели в разных ракурсах, луч прожектора падает непосредственно на самого царя: показано, как он и его супруга восприняли выстрел террориста. Именно здесь Николай Второй впервые появляется на страницах эпопеи, и мы смотрим на события его глазами, слышим его голос.

В основу семьдесят второй главы, где появляется император, положено

письмо его к матери из Крыма от 10-11 сентября 1911 года. Большая часть этого письма заполнена рассказами о праздничных приемах, парадах, смотрах, которые так любил Николай, и лишь кратко говорится о гибели премьер-министра.

Опираясь на этот документ, писатель усиливает то, что звучит недостаточно ясно, договаривает то, что недосказано. Так, в начале письма есть фраза о путешествии царской четы в Киев и Крым: оно было "наполнено самыми разнообразными впечатлениями, и радостными, и грустными".[9] Переделывая эту фразу, Солженицын усиливает то, что таится в подтексте: "Написал большое письмо Мама (...) обо всех впечатлениях, ч а щ е радостных, и н о г д а грустных, – методически и с аккуратностью обо всех событиях подряд, маневрах, парадах, убийстве Столыпина, не забывая и погоду каждого дня..."[10].

Внесенные писателем слова, мною подчеркнутые, да и самый перечень событий (все подряд, как нечто равнозначное) выявляют истинное отношение императора к "грустному" факту убийства. Характерен и этот эпитет: ведь есть же разница между грустным событием и трагическим?!

Но в том-то и дело, что с точки зрения царя трагедия не столь уж велика. Отсюда и реакция его в момент покушения (в письме таких слов нет, но они вытекают из общего контекста): "Вот тебе раз! Уж как великолепно была поставлена охрана! (...) Бедный Столыпин. И как омрачительно, что это – в дни таких прекрасных торжеств".[11] Тут каждое слово "играет": и первое восклицание, по тону явно не соответствующее размерам несчастья; и наивная уверенность в безупречности охраны; и сочувствие Столыпину, выраженное лишь мимоходом; и сожаление, что выстрел помешал праздникам.

А впрочем, не так уж и помешал: спектакль не отменили, царь досидел в своей ложе до конца представления. И в больницу собрался, когда было уже поздно. При этом Солженицын замечает: "Государь испытал облегчение. В данную минуту не хотелось бы разговаривать со Столыпиным".[12] Ведь царь находился под впечатлением "чудесной" поездки и парада накануне, который "достойно завершил чудесные киевские дни – из самых счастливых дней во всей жизни Николая..."[13] Подобных прямых высказываний в письме нет. Но в нем постоянно встречаются восторженные слова, выражающие общее настроение императора: "великолепный парад", "дивный день", "радость огромная", "привели меня в восторг". Нельзя не почувствовать, что в счастливые киевские дни мысли о "бедном Столыпине" не очень-то омрачали царя.

Заглядывая в его душу, писатель обнажает то, о чем матери Николай не сказал, но о чем можно догадаться на основании общего тона письма: "Он понимал, что произошло событие трагическое. Бедный Столыпин. Но сам удивлялся себе и досадовал, что не испытывал уж такого сокрушения и горя. И искал причину. А все потому, что Столыпин – передержался в должности. Зачем он не подал в отставку раньше? Ведь это уже так созрело, и он понимал. Зачем ожидал увольнения? Подал бы в отставку – и был бы теперь цел".[14]. Значит, виновны не столько убийцы, сколько жертва?!.

Так заполняет художник лакуны документа, и недосказанные в нем чувства начинют пульсировать, обнаруживается их подлинная суть.

Разворачивает Солженицын в целую сцену и лаконичные строки письма о реакции Александры Федоровны на весть о покушении на Столыпина: "Аликс ничего не знала, и я ей рассказал о случившемся. Она приняла известие довольно спокойно".[15] И тут же сказано, что старшие дочери были потрясены, плохо спали, Таня плакала.

Вот как об этом повествуется в романе: "Николай рассказал о случившемся, форсируя горькие выражения голоса. Тут ворвались Таня и Оля и в слезах рассказывали матери, как это все было".[16] Очевиден нарочитый контраст: царь лишь старался казаться огорченным, а дочери его, чье восприятие не замутнено побочными соображениями, потрясены несчастьем.

Чувства императрицы писатель также обнажает. Оставшись с мужем наедине, она резко отзывается о Столыпине. "Да, он не облегчал жизни, – должен был согласиться Николай. – Утомительный". И вот тут-то и прорывается иронический голос автора: "О, какой утомительный! И почему, за что самодержавный Государь должен был находиться под таким угнетением?"[17] (Мы убедимся далее, насколько точные слова нашел здесь писатель. – "не облегчал", "утомительный" – слова, передающие самую суть правления этого венценосца.)

Точно найдены и столь же характерны слова государыни"И никогда он не уважал нашего Друга!" (Распутина). "Он был рад занять твое место". Заключительная реплика свидетельствует об обреченности столыпинских планов. Не случись Богрова, все равно им не суждено было осуществиться: "Будем молиться! – настоятельно, как возражал, Николай. – Будем молиться, чтобы он выздоровел. А потом, конечно, отпустим на покой".[18]

Следующая глава – обзорная. Как другие главы этого типа, она наиболее "исторична": здесь нет вымышленных персонажей, преобладает документальный материал, и только тут автор дает прямые оценки людей и событий.

Обозначенная в скобках тема этой главы уже сама по себе звучит саркастически: "Царское милосердие". Речь идет о том, что по своей "доброте" Николай простил полицейских чиновников, из-за халатности которых совершилось убийство. "Всего лишь убили первого министра страны..." – иронизирует писатель. Акт прощения он называет "умилительным милосердием", а по сути – "окончательным предательством Столыпина троном..."[19]

* * *

Новые задачи встают перед Солженицыным в следующей, весьма обширной семьдесят четвертой главе. Мы снова как бы переселяемся в душу царя, видим мир его глазами, слышим все время только его голос и лишь в подтексте угадываем авторские эмоции. Познакомив нас с Николаем в предшествующих главах, писатель прослеживает, как формировалась его личность, что представлял он собою не только как правитель России, но и как частное лицо. речь идет о юности наследника, о его воцарении, о последующих событиях его царствования, вплоть до начала мировой войны.

В основу главы о монархе положен дневник Николая Второго. Этот документ лишь вскользь повествует о событиях государственного значения и гораздо чаще, хотя тоже весьма лаконично, о делах семейных, о погоде, о мелочах придворного быта, о смотрах, парадах, охоте.

Работа писателя над дневником – та же, что и над письмом к Мама: он разворачивает в живые картины краткие записи дневника, глубоко заглядывает в душу Николая, нигде при этом не изменяя сути документа.

О легкой, беззаботной жизни наследника в дневнике говорится немало. Преобладают записи такого рода: "был очень веселый пляс у Воротынских", "веселились и бегали, как угорелые", "возились по-прежнему на катке", "порядочно нализались и изрядно повеселились", "хлыщали по набережной", "валял во всю мочь за мячиками".[20] Да не подумает читатель, что это пишет подросток. Нет, перед нами записи молодого человека двадцати двух лет, уже окончившего курс учения.

Солженицын не перечисляет всех развлечений Николая, не использует и подчеркнутых мною колоритных словечек, за исключением часто повторяющегося "возились". Видимо, писатель не намерен сгущать краски, и без того достаточно выразительные. Вот что говорит он о времяпрепровождении и интересах наследника российского престола: "...На катке в Аничковом веселая возня с девицами Шереметевыми или с ними же в прятки, то смотреть через забор на Невский, то с молодежью по набережной".[21]

Точно так же, создавая некую контаминацию из поденных записей Николая, рисует писатель и его веселую жизнь во время летних лагерных сборов, увлечение "маленькой Кшесинской", путешествие на Восток и возвращение через Сибирь. Однако здесь впервые сквозь веселую болтовню проступает грозная тема рока: "И с радостным сочувствием рассматриваешь города, в которые ведь никогда не соберешься больше: Иркутск, Тобольск, Екатеринбург".[22] В дневнике таких слов нет, но они не выпадают из общего тона. Для нас же названия мест будущей ссылки и убийства императорской семьи звучат, как трагическое предзнаменование. И начинает казаться страшным бездумно-веселый тон цесаревича.

Много места в главе о монархе, как и в дневниках Николая, отводится истории его любви и женитьбы на принцессе Алисе Гессен-Дармштадтской (Аликс), сыгравшей в жизни царя, быть может, роковую роль.

Рассказ об этой "идеальной" любви двух "чувствительных" сердец очень близок к страницам дневника. Отказываясь от просторечия (Николай пишет о родне – "лизались", в романе же сказано "лобызались", вместо: "публика перла" – "публика теснилась"), Солженицын берет из дневника слова "высокие", в которых, однако, нельзя не почувствовать привкуса слащавости и чрезмерной экзальтации: "возвышенное, неземное счастье", "о, незабвенный день жизни!", "беспредельное блаженство". Наряду с этим режет слух часто повторяющееся и в дневнике, и в романе слово "душка" (не зная еще в то время русского языка, Аликс тоже обращается к жениху: "душки").

По своей тональности слово "душка" резко отличается от однокоренных. "Душечка" – назвал Чехов рассказ, в котором нет ни капли пошлости. "Душенька", – прошептал умирающий старик Болконский, прося прощения у дочери. "Душа моя", – обращался Пушкин в письмах к друзьям. А вот Липочка в комедии Островского "Свои люди – сочтемся" говорит о женихе-военном: "Душка, милашка!"

Конечно, в интимном разговоре, не предназначенном для посторонних ушей, влюбленные вольны выбирать ласковые выражения. Но все же в самом их выборе сказываются обычно и вкус, и душевный такт, и общий стиль отношений.

На страницах, рисующих любовь Ники и Аликс, начинает звучать и ее голос. Источник все тот же: в дневник жениха она вписывала признания на английском, французском, немецком. Солженицын их использует в переводе на русский язык, сохраняя стиль подлинника. А стиль этот напоминает романы в духе Ричардсона, казавшиеся старомодными еще при Пушкине. Вот образцы, дословно перенесенные из дневника в главу о монархе: "...любовь поймана, я связал ей крылья";[23] "Почаще спрашивай себя: как бы я поступил, завидя ангелов?":[24] "Когда чувствуешь себя упавшим духом – приходи к Солнышку, она постарается согреть тебя своими лучами".[25]

Интересна запись, почти без изменений приведенная в романе. Будущая императрица, пока – лишь скромная невеста, уже поучает своего жениха: "Не позволяй другим быть первыми и обходить тебя (...) Выяви свою волю и не позволяй другим забывать, кто ты".[26] (Говорится о сношении с врачами во время смертельной болезни Александра Третьего.) Начальные слова этого наставления, взятые писателем из другого места дневника, придают всей записи уже знакомый нам приторный характер, дисгармонирующий с поучительным тоном: "Твое Солнышко молится за тебя и за любимого больного".[27]

Впрочем, ни здесь, ни в последующих главах "Красного колеса" Солженицын не выражает сомнения в подлинности чувства царской четы, сумевшей пронести свою любовь через всю жизнь и доказать ее силу перед лицом смерти. В том-то и заключается мастерство художника и добросовестного историка, что он рисует характеры и чувства не однозначные, порою и странные. Не все тут понятно, не все поддается логическому анализу.

Вот почему нас не должно удивлять, что в рассказе о Николае Втором и его супруге ирония сочетается с драматической тональностью. Более того. Работая над текстом дневника, писатель постепенно усиливает трагические ноты. Они начинают отчетливо звучать с того момента, как умирает отец наследника – Александр Третий.

В дневнике Николая горе его выражено в следующей записи: "Боже мой, Боже мой, что за день (...) Голова кругом идет, верить не хочется – кажется неправдоподобной ужасная действительность".[28] Так бы мог сказать любой осиротевший сын. Солженицын же раскрывает все, о чем молчит дневник: "Боже, да ведь это сотрясение всей России. Что же это будет? Голова шла кругом, не хотелось верить..." И далее: "Быть русским царем? – непереносимо трудно!"[29].

Переживания Николая не придуманы писателем. Он мог воспользоваться другим источником. Сохранились воспоминания великого князя Александра Михайловича (Сандро), друга юности царя: "Мы обнялись и плакали вместе. Он сознавал, что сделался Императором, и это страшное бремя власти давило его. "Сандро, что я буду делать! – патетически восклицал он. – Что теперь будет с Россией? Я еще не подготовлен быть царем! Я не могу управлять Империей!.. Помоги мне, Сандро!"[30]

Чтобы усилить ощущение катастрофы, Солженицын нагнетает мрачные краски: "Черным осенним вечером несли умершего из дворца в церковь, между двумя рядами факелов. Жутко". Этих слов в дневнике нет, но есть те, которые следуют далее и в романе: "Было холодно, море ревело".[31] (В дневнике: "Даже погода и та изменилась, было холодно и ревело море".[32]

Выбирая из дневника Николая лишь наиболее характерные строки, соединяя записи разных дней, писатель усиливает их эмоциональное звучание. Так, в дневнике читаем: "... принимал массу депутаций... Голова кругом ходила... совсем теряешься и с толку сбиваешься".[33]

В романе: "Отвечать приходилось на всякую всячину, совсем терялся, с толку сбивался, на душе камень, чуть не расплакался от обиды..."[34]

Солженицын изображает "безвыходный жребий" человека, вопреки своим склонностям и желанию ставшего "всемощным всевластным монархом. Что надо было делать? Что говорить? Кого назначать? Кого смещать? С кем соглашаться, с кем нет (...) Вот это и было в роли монарха самое мучительное: среди мнений советников избрать правильное". Далее, воспроизводя уж и вовсе беспомощный голос своего героя, писатель не может удержаться от иронии: "И как было бы хорошо и легко править Россией, если бы мнения всех советников сходились! Что бы стоило им – сходиться, умным людям – согласиться между собой! Нет, по какому-то заклятью обречены они были всегда разноголосить – и ставить своего императора в тупик. И только душили его записками, докладами, докладами."[35]

Солженицын подчеркивает, что царь "мечтал бы делать лишь верное и хорошее".[36] Но не знал ни как это делать, ни что значит "хорошее". Оно мыслилось скорее как безмятежное царствование, нечто вроде Додоновского "царствуй, лежа на боку", нежели как какая-либо политическая программа. Вот характерные строки: "Любя эту страну и желая ей только добра – почему нельзя было жить всем мирно, хорошо? Апрельской ночью поехать на глухарей (...) Присутствовать на маневрах (...) Вечером поехать на какую-нибудь веселую пьесу..."[37] Жить так, как он жил в дни беззаботной молодости – вот предел желаний самодержца!

В дневнике также выражена мечта принести "России пользу и преуспеяние". Но чувствуя свое бессилие что-либо изменить, Николай становится фаталистом и легко мирится с бедами, которые так и валятся со всех сторон. Он записывает о сдаче Порт-Артура: "Значит, на то воля Божья!".[39] О заключении позорного мира с Японией: "мир будет заключен (...) это, вероятно, хорошо, потому что так должно быть".[40] Эта запись датируется 18 августа, а уже 5 сентября, позабыв о несчастьях бессмысленной войны, о тысячах убитых, искалеченных, царь предается любимым удовольствим: "Была импровизированная охота. Очень забавлялись..."; "стоял идеальный день", "взяли два острова облавою", "убили удачно черныша", "играли в дутье".[41]

А в это время революционное движение в стране набирает силу и надвигаются грозные события девятьсот пятого...

Великий князь Александр Михайлович, любивший и хорошо знавший Николая, говорит о нем в воспоминаниях: царь "со всем усердием пассивного христианина избрал своим девизом слова – "Да будет воля Твоя".[42]

И в романе рисуется фатализм Николая. Что бы ни случилось, он всегда находит утешение: "Нет уж, пусть все идет, как на то воля Божья".[43] "Нет, видно, это все было написано на небесах – и так тому быть"[44] (после Цусимской трагедии).

Не отступая от правды дневника, Солженицын показывает, и как легко Николай Второй находил утешение в самые трудные периоды своего царствования. Так, во время русско-японской войны, терпя одну неудачу за другой, он не отказывался от привычных удовольствий: "В милом Царском чудные прогулки во всякую погоду (...) или верхом вокруг Павловска (...) Весной раза два охотился на глухарей на току, а то наладился в царскосельском парке охотиться на ворон (...) или просто баловаться в речке, ходя голыми ногами, – ото всего этого распорядка вносилось большое успокоение".[45]

И все же, сохраняя подобную тональность дневника, писатель драматизирует некоторые эпизоды. Он ведь вправе предположить, что не все переживания Николая нашли отражение в его дневнике. И читая главу о монархе, мы верим авторской интуиции.

Вот, например, что записал император под датой 9 января 1905 года: "Тяжелый день! (...) Господи, как больно и тяжело". Но тут же, рядом: "Завтракали со всеми. Гулял с Мишей".[46] Солженицын не только усиливает эмоциональное звучание этой записи, но и ничего не говорит о повседневных занятиях царя в столь роковой час. Вот что сказано в романе о переживаниях Николая: "Молился и плакал. О, Господи, почему Ты не даешь помощи? Почему же так мрачно обставилось все вокруг? О, просвети, что же надо делать?!"[47]

Порой начинает казаться, что сам автор мучается вместе со своим героем. Явное сострадание слышится, например, в таких словах: "Долго, в одиночестве, с головой, опущенной над телеграммой, он сидел и плакал над концом их дружбы".[48] В особенно драматических ситуациях фраза становится напряженной, отрывочной, и мечутся мысли, мечется душа. Писатель-историк ведь знает, к чему приведут изображаемые им события (речь идет о начале мировой войны): "Как ударило по душе. А – что делать? (...) Разверзалась несдержимая, никем не управляемая бездна..."[49] "Теперь-то что? Теперь о чем? Задрожали руки (...) Что это?! Как понять?! (...) О, бедное сердце!"[50] Последние слова – едва ли не самого автора. Да и как не назвать бедным сердце того, кто был обречен царствовать, кто был прикован к престолу, как преступник к галере!

Однако глава о монархе кончается оптимистическим аккордом. После объявления войны с Германией у царского дворца собралась толпа. Охваченная патриотическим восторгом, она приветствует появившуюся на балконе императорскую чету. И настроение Николая резко меняется: "Двадцать лет его царствования как не бывало, он еще не совершал ошибок, он никогда не ссорился со своим народом, он сегодня был юнокоронованный царь, только что начинающий славное царствование".[51]

Но опять, с новой силой возникает здесь тема рока. Мы уже слышали ее в начале главы, где упоминались как бы невзначай Тобольск и Екатеринбург. На этот раз тема рока звучит отчетливо и грозно, как гул набата.

Одним из компонентов "Красного колеса" являются подлинные документы (газетные материалы, приказы по армии, письма, телеграммы), которые периодически помещаются между главами. Такой документ следует и за главой о монархе. Это – письмо Распутина к царю, датированное июлем четырнадцатого года. Оно звучит резким диссонансом после ликующей концовки главы: "Милай друг еще раз скажу грозна туча над Расеей беда горя много темно и просвета нету. Слес то море и меры нет а крови? (...) Тут начало конца (...) Вот Германию победят а Расея? Подумать так воистину не было от веку горшей страдалицы вся тонет в крови. Велика погибель без конца печаль".[52] Текст обоих "узлов" подтверждает пророческую силу этих слов. И рядом с ними восторг царя кажется легковесным, если не преступным.

Последние главы "Августа" возвращают нас к событиям первого тома и снова напоминают о царе. И мы не можем не почувствовать того, что заметили уже и раньше: причина роковой обреченнос-

ти последнего русского самодержца кроется в нем самом.

В присутствии Воротынцева Верховный Главнокомандующий великий князь Николай Николаевич получает от императора телеграмму – в ответ на известие о гибели Второй русской армии и самоубийства Самсонова. Вот текст этой телеграммы: "Дорогой Николаша! Вместе с тобой глубоко скорблю о гибели доблестных русских воинов! Но подчинимся Божьей воле. Претерпевый до конца спасен будет!"[53] В телеграмме сообщалось также, что Государь повелел перевезти в Ставку чудотворную икону, дабы с ее помощью воздействовать на ход военных событий. Завершается глава такой пословицей: "Молитвой квашни не замесишь".[54] Лучшего комментария к словам царя не найти!

Очевидно, близки писателю и мысли Воротынцева по поводу царской телеграммы: "Претерпевый до конца! Они берутся претерпеть все н а ш и страдания – и до конца! – и даже не выезжая на передовые позиции. Они готовы претерпеть еще три-четыре-пять таких окружений, и тогда Господь их спасет!" Солженицын говорит о Воротынцеве: "Не прощал он – самому царю, да! Вот этого легкого самоутешения – не прощал".[55] Не прощает его и автор...

* * *

В "Октябре шестнадцатого" рисуется момент, когда пропасть уже разверзлась, но мудрый правитель еще мог бы спасти страну. Однако спасать ее было некому. Трон окружали ничтожества, министры сменялись с лихорадочной поспешностью, а преданные способные люди находились не у дел. И хотя едва ли не все видели надвигающуюся революцию, как в страшном кошмаре, не могли поднять руки, пошевелиться, очнуться.

В этой ситуации, естественно, самые разные персонажи говорят и думают о самодержце. Поэтому, как и в "Августе", его личность освещается с разных сторон, появляются новые ракурсы, слышатся новые голоса. А в конце "Октября" образ императора снова раскрывается "изнутри".

В многоголосом хоре персонажей, рассуждающих о монархе, важен голос Воротынцева. Думается, он в большей мере, нежели другие, близок к авторской точке зрения, хотя знака равенства между писателем и его героями ни в этом, ни в других случаях ставить нельзя. Взгляды Воротынцева ограничены его временем, его личным опытом. Писатель же смотрит на явления как бы с птичьего полета.

Особенно значительным представляется спор между Воротынцевым и яростным монархистом генералом Нечволодовым. "Да, Государь наш бывает избыточно-мягкосердечен", – готов признать Нечволодов. Но восхищает: "его чистое сердце. Его любовь к русским святыням. Его простодушие небесное".[56]

Однако аргументы Воротынцева оказываются неопровержимыми. Он вспоминает Столыпина: "Был человек, могуче вытаскивал Россию, – кто ж его и травил, прежде правых? Да не они ли его и убили? Он – умел двигать, так ему руки связывали".[57] (В другом месте Воротынцев отзывается еще резче о Николае, который не подошел к раненому, не навестил его в больнице: "Если мы простим Столыпина безо всяких выводов – никуда мы не годимся".[58]

В споре с Нечволодовым обвиняет Воротынцев монарха и в другом: не жалеет он русской крови. И в конце концов генерал вынужден согласиться: "Глаза Государя застланы. И входы к нему закрыты".[59] Слова автора подтверждают этот горький вывод: "...Там, в царском доме, тек, вероятно, беззаботный вечер, свободный от государственных размышлений, – долго обедали, или распивали поздний чай, или в карты играли, или рассказывали разные случаи военной жизни? А тут, в ста саженях, стоял непозванный, ненужный, забытый слуга престола (...) И похоже было, что Нечволодов опирается на меч. Бездействующий. Не веленный к бою. Воткнутый в землю (...) А если б и вытащить – так сгнил он острием".[60]

Вслед за этим эпизодом следует глава о самом Николае Втором. Но она не повторяет того, что нам уже известно. Писатель словно делает рентгеновский снимок в новом ракурсе, и мы видим новые грани исстрадавшейся слабой души.

* * *

В "Октябре шестнадцатого" Солженицын особенно часто пользуется таким достоверным источником, как переписка Николая Второго и Александры Федоровны. Отрывки из их писем рассыпаны по всему тексту и в разных комбинациях играют разную роль.

Прежде всего обращают на себя внимание письма царицы в обзорной девятнадцатой главе. Это – едва ли не центральная историческая глава в обоих "узлах". В самом названии ее указан основной конфликт всей эпопеи: "Общество, правительство, царь. 1915".

В основу главы положены протоколы заседаний Совета Министров, материалы думских прений. Мы слышим выступления государственных и общественных деятелей. Но вот в смешанный хор официальных речей врывается взволнованный, страстный, то негодующий, то требовательный, то слезно умоляющий голос императрицы. Она настаивает, чтобы Ники принял на себя должность Верховного Главнокомандующего, назначил одного министра, сменил другого.

Однако автор не просто цитирует отдельные фрагменты ее писем. Перед нами – сложнейшая, кропотливая работа, напоминающая работу киномонтажера, который склеивает целостный фильм из разрозненных кусков ленты. Рассмотрим лишь один пример.

Уговаривая мужа взять на себя пост Верховного, императрица старается внушить ему, что Николай Николаевич (Николаша) для этой роли непригоден. (Привожу солженицынский текст полностью, а в скобках – соответствующие фрагменты из подлинных писем царицы: "Он так мало понимает во внутренних делах и нашу страну, но импонирует министрам громким голосом и жестикуляцией. (Он так мало понимает нашу страну и импонирует министрам своим громким голосом и жестикуляцией – 15 июня.[61]) Все возмущены, что министры отправляются с докладами к нему (Все возмущены, что министры ездят к нему с докладами, как будто он теперь государь – 25 июня.[62]) Говорят, что Государя лишили власти (этих строк в письмах нет). Нашего Друга и меня одинаково поразило, что Николаша, отвечая губернаторам, составляет телеграммы в твоем стиле. (Нашего Друга так же, как и меня, возмутило то, что Николаша пишет свои телеграммы, ответы губернаторам и т.д. твоим стилем – он должен бы писать более просто и скромно – 4 апреля.[63]) К тому же это вина Николаши и Витте, что вообще существует Дума (Николаша и Витте виноваты в том, что Дума существует, а тебе она принесла больше забот, чем радостей – 17 июня.[64]) Николаша далеко не умен, упрям – и его ведут другие. Его подстрекают его черногорки. (Он далеко не умен, упрям и им руководят другие – 12 июня.[65]) Он действовал неправильно – к твоей

стране, к тебе и к твоей жене. (Он неправильно поступает по отношению к тебе, твоей стране и твоей жене – 22 августа.[65]) И так как он пошел против Человека, посланного Богом, – его дела не могут быть угодны Богу, и мнения его не могут быть правильны. Человек, который сам стал предателем Божьего человека, – не может быть угоден Богу. (Человек, который стал предателем Божьего человека, не может быть благословен и дела его не могут быть хорошими – 25 июня.[67])

Как видим, монтируя текст, писатель почти не меняет подлинника, лишь кое-что усиливая, кое-что смягчая и внося чисто стилистические поправки. Общий дух писем остается неприкосновенным. А монтаж позволяет сконцентрировать суть, не перегружая главу ненужными подробностями и повторениями, которые столь типичны для эпистолярного стиля императрицы.

Сохраняет писатель главное: энергический тон ее поучений, категоричность суждений и в то же время – их легковесный характер. Вот некоторые выразительные строки, вмонтированные в обзорную главу: "Надо бы выгнать нескольких министров, а Горемыкина оставить. Он – милый старик (...) И он откровенен с нашим Другом".[68] "Ах, неужели нельзя было бы повесить Гучкова?.."[69] О министрах: "Выгони всех, пожалуйста, моя птичка, и поскорее!"[70] "О, милуша, я так тронута, что ты хочешь моей помощи".[71]

Нет, не случайно в главе, где речь идет о роковом разладе общества, правительства и трона, все время звучит "неумолкающий, лучше всех слышимый голос царственной супруги"[72] – голос из Царского Села (основной ее резиденции).

"Можно было представить, что в этой огромной стране есть думающие люди и кроме придворного окружения, что Россия более разномысленна, чем только гвардия и Царское Село (...) – заключает писатель. – Все же – смертельная рознь власти с обществом была болезнь России, и с этой болезнью нельзя было шагать гордо победно до конца. Любя Россию, надо было мириться с нею со всей и с каждой. И еще не упущено было помириться. Но за десятками нерастворных дубовых дверей неуверенно затаился царь..."73

* * *

Есть случай, когда письма имераторской четы становятся самостоятельным компонентом произведения (подобно тому, как это было с письмом Распутина, приведенным выше). После ленинских глав в "Октябре" помещены письмо государыни из Царского Села и ответ Николая из Могилева, где находилась Царская ставка. Далее следуют главы, в которых рисуется семейная драма Воротынцева.

"Стыки" предшествующих ленинских глав и последующих воротынцевских с этими двумя документами создают некий контраст, существенный для понимания психологических коллизий.

Только что перед нами прошел Владимир Ильич, с его фанатической, унизительной страстью к Инессе. Его нисколько не смущает, что он обманывает преданную супругу, не щадит ее чувств, а она безропотно мирится с изменой.

А далее рисуются терзания Воротынцева, которому предстоит нелегкая встреча с Алиной после того, как он ей изменил. Он глубоко страдает, не умея притворяться и чувствуя мучительную жалость к жене.

И вот тут-то, между главами о супружеской неверности – письма двух людей, пусть чрезмерно выспренние, но проникнутые такой беспредельной любовью! В "Августе" мы видели их женихом и невестой, потом – молодоженами. Но прошло два десятилетия, родилось пятеро детей, оба постарели, а слова любви – все те же.

"Мой родной ангел, снова мы расстаемся! (...) – сетует Аликс. – У меня очень тяжело на сердце. Но душой я постоянно с тобою и горячо люблю тебя. Навеки, милый светик мой, твоя старая Женушка".[74] А Николай отвечает: "Моя бесценная, любимая душка! От всего моего старого любящего сердца благодарю тебя за твое дорогое письмо (...) Ах, сокровище мое, любовь моя! Как я тоскую по тебе! Такое это было подлинное счастье – эти шесть дней дома!.."[75]

Как всегда, общий тон обоих писем отличается присущей каждому специфической окраской. Между выражениями любви, с коих начинается и коими кончается ее письмо, Александра Федоровна обращается к государственным вопросам и делает наставления: "И опять эта история с Польшей (...) спрошу нашего Друга, что Он думает. Мне не нравится, что Николаша едет в Ставку (...) Не позволяй ему..." и т.д.

А Ники между словами любви вставляет отчет о своем времяпрепровождении: "Помолившись с Бэби (наследник был с ним в Ставке – М.Ш.), я немного поиграл в домино. Легли рано... Убежала кошка Алексея..." – и тут следует рассказ о том, как искали кошку, как ее нашли, как она не хотела слушаться.

Заглянем в подлинник этого письма: там подробно описываются разные бытовые мелочи.[76] Из них Солженицын выбрал именно этот по-детски наивный рассказ о поисках кошки, уместный, если бы его поведал двенадцатилетний сын, но не царственный отец.

Очевидно, привлекла Солженицына и дата. Письмо императрицы датируется 25 октября 1916 года: оно написано ровно за год до Октябрьского переворота! Эта зловещая дата заставляет нас по-новому взглянуть на оба документа. Идет, надвигается беда неминучая, а о чем говорят и думают правитель страны и его верная помощница?!

Неумолимая поступь рока слышится и здесь.

* * *

Солженицын не ограничивается анализом роли, которую играла императрица в жизни Николая, в судьбах страны. В двух посвященных ей главах "Октября" (64 и 72) Александра Федоровна рисуется "изнутри". Писатель и здесь использует фрагменты ее писем к мужу, домысливая то, что прямо в них не выражено, но что читается между строк. Этот метод, как и в других случаях, позволяет глубже заглянуть в душу персонажа, не отступая от исторической правды.

Многое в императрице вызывает симпатию автора: и то, как она воспитывала своих дочерей, стараясь сделать их скромными, трудолюбивыми; и ее кипучая благотворительная деятельность, особенно в годы войны, когда она с великими княжнами прошла специальное обучение, чтобы работать в лазарете простыми сестрами. Поражает сила ее духа, способность преодолевать собственные болезни, не обращать внимания на сплетни, жертвовать собой ради семьи. "Бог дал ей такое большое сердце, которое съедало все ее существо", – говорит писатель.[77]

Но ощущая предгрозовую атмосферу, она не в состоянии понять, что творится в стране. Она мечется, страдает. Нескончаемым потоком идут в Ставку ее письма с наставлениями и требованиями, а вера в Распутина обретает характер навязчивой идеи. Он представляется

ей спасителем гибнущего трона, "Святым Человеком", Божьим посланником. Слова "Он", "Друг" императрица неизменно пишет с большой буквы, словно речь идет о высшем существе.

Она не всегда ошибалась, чутье не в всегда обманывало ее. Так, "она сердцем не могла принять бесполезных кровопролитий". Она верно оценивала трагическую ситуацию: "Наши генералы жертвуют жизнями", "словно мухами". Она взывала к мужу: "Пощади воинов, останови!"[78] Текст эпопеи подтверждает справедливость ее слов.

Но это не мешает писателю иронизировать над суждениями императрицы о людях, коих она прочила на ответственные посты. Она основывалась при этом на мнениях "Друга" или на случайных впечатлениях, принимая их за наитие свыше. В главе приводятся оценки вроде следующих: "...и какой абсолютный джентльмен (...) И она знала его старую мать... И у него никогда не будет выпада против Друга".[79] Или: "...мужчина, не юбка (...) И – верит в разум государыни. И постоит за Друга..."[80] Когда же этот второй протеже обманул ожидания, свою ошибку царица объяснила тем, что им "овладел дьявол".

Вторая глава, посвященная Александре Федоровне, отличается особенно острым накалом чувств. Трагичнее становится голос больной измученной женщины, иступленней, отчаянней – ее любовь.

Из писем шестнадцатого года Солженицын выбирает мотивы, которые обнажают характерный диссонанс: с одной стороны, Ники вызывает у жены чувство жалости, словно малый ребенок (она обращается к нему: "Мой бедный большой Агунюшка!"; "Бедный малютка!"). С другой стороны она взывает: "Будь хозяином!"; "Будь львом!"; "...раздави их всех!"

Страстно желая укрепить волю царственного супруга, государыня, сама того не замечая, делала все от нее зависящее, чтобы волю его парализовать.

И снова встречаясь с Николаем в шестьдесят девятой главе, мы видим его трагедию с неожиданной стороны: разлад царя с обществом сочетается с разладом в династической семье. А боль, причиняемая этим внутренним разладом, оказывается уж и вовсе нестерпимой.

"Октябрь шестнадцатого", где столь много места отведено личным драмам героев, завершается концовкой, в которой как бы подводятся итоги: "Нет в мире болей больнее семейных, струпья от них – на самом сердце".[81] Есть все основания полагать, что слова эти относятся и к царю. Столь счастливая его супружеская жизнь оборачивалась нередко горькой мукой.

Солженицын вскрывает чувства, которые прямо в своих письмах к жене Николай не обнаруживал. Так, говорится, что он часто отказывался от выбора людей, казавшегося ему разумным, лишь потому, что боялся: "этот вызовет гневный протест Аликс, даже страшно представить".[82]

Особенно угнетала царя растущая роль Распутина. "Его молитвы, прозрения, угадывания, а то и просто сны указывали вдруг", как надо вести войну, кого назначать на государственные посты.[83] Николай чувствовал "неуверенность в том, что отношения установлены все правильно (и безвыходность изменить их)..."[84] Безвыходность же вызвана была тем, что не мог он перечить Аликс, зная, "как много этот человек значил для укрепления духа императрицы".[85] Поэтому ни доводы рассудка, ни попытки родни воздействовать на Ники, чтобы ослабить влияние Александры Федоровны и Распутина, – ничто не могло поколебать любви и доверия к ней. Лишь душа изнемогала под бременем противоречий.

Творческая интуиция помогла писателю с редкой силой изобразить "стесненную, зажатую жизнь монарха".[86] Опираясь на лаконичные упоминания в письмах царя о его прогулках по окрестностям Могилева, Солженицын создает незабываемую сцену. На этот раз мы видим не самодержца, а простого измученного человека, который наслаждается тишиной и безлюдьем осеннего мира. Он рад бы "тепло и нежно прикоснуться к этой земле", уйти в этот "большой ласковый Божий дом". "В такие минуты проклятую политику – совсем забывал Николай (...) как охотно он отдал бы и свой трон (...), и Верховное Главнокомандование опять Николаше, – и стал бы простым солдатом (...) за право вот так сидеть у костра, обжигая пальцы золою картошки, ни над чем не измучиваться головой и грудью..."[87]

Концовка главы проникнута безысходной тоской. Николай спал рядом с больным сыном, "и всю ночь отцу были слышны, под вой ветра снаружи, стоны мальчика здесь. От этих стонов отец готов был рыдать или бежать куда-нибудь".[88]

Когда читаешь страницы "Красного колеса", посвященные Николаю, вспоминаются слова другого царя, тоже последнего в династии, тоже правившего накануне смутного времени – слова Федора Иоанновича из трилогии Алексея Толстого: "Боже, Боже, за что меня поставил ты царем!"

Сочетание трагедии и сатиры – одна из характерных черт творческого метода Солженицына – особенно ярко проявляется в изображении Николая Второго. Материал для трагико-сатирического освещения его облика автор почерпнул из дневников и переписки царя. Прочитать же между строк эти исторические документы и по ним восстановить портрет императора помогла писателю его художническая интуиция.

Мария Шнеерсон

ПРИМЕЧАНИЯ

1 О жанре "Красного колеса" высказаны интересные мысли в статьях, опубликованных в журнале "Обозрение" №7, ноябрь 1985 (Михаил Геллер. Вчера и сегодня в "Красном колесе" Александра Солженицына; Никита Струве. "Октябрь шестнадцатого").
2 О документальной основе "Красного колеса" см.: Дора Штурман. Ленин и другие. "Стрелец", №№5-7, 1985.
3 "Русская мысль" №3541, 1 ноября 1984.
4 Александр Солженицын. Собрание сочинений. Вермонт-Париж, 1983, т. 12, стр. 464. В дальнейшем все цитаты даются по второму собранию сочинений и указываются лишь номер тома и страницы.
5 Там же, стр. 245.
6 Там же, стр. 304.
7 Там же, стр. 307-308.
8 Там же, стр. 309.
9 "Красный архив", т. 4 (35), Москва-Ленинград, 1929, стр. 209.
10 Том 12, стр. 331.
11 Там же, стр. 322.
12 Там же, стр. 326.
13 Там же, стр. 325.
14 Там же, стр. 323.
15 "Красный архив", том 4 (35), Москва-Ленинград, 1929, стр. 210.
16 Том 12, стр. 323.
17 Там же, стр. 324.
18 Там же, стр. 325.
19 Там же, стр. 344.
20 Дневник императора Николая Второго. Париж, "Лев", 1980, стр. 12, 13, 15.
21 Том 12, стр. 345.
22 Там же, стр. 347.
23 Там же, стр. 349. Дневник императора Николая Второго, стр. 254.
24 Том 12, стр. 353. Дневник императора Николая Второго, стр. 255.
25 Том 12, стр. 352. Дневник императора Николая Второго, стр. 255.
26 Том 12, стр. 351. Дневник императора Николая Второго, стр. 255.
27 Там же.

28 Дневник императора Николая Второго, стр. 81.82.
29 Том 12, стр. 352.
30 Великий князь Александр Михайлович. Книга воспоминаний. Париж, "Лев", 1980, стр. 169.
31 Том 12, стр. 352-353.
32 Дневник императора Николая Второго, стр. 87.
33 Там же, стр. 91, 93.
34 Том 12, стр. 354.
35 Там же, стр. 356-358.
36 Там же, стр. 369.
37 Там же, стр. 375.
38 Дневник императора Николая Второго, стр. 199.
39 Там же, стр. 188.
40 Там же, стр. 214.
41 Там же, стр. 215-217.
42 Великий князь Александр Михайлович. Книга воспоминаний, стр. 185-186.
43 Том 12, стр. 412.
44 Там же, стр. 417.
45 Там же, стр. 392.
46 Дневник имепратора Николая Второго, стр. 194.
47 Том 12, стр. 409.
48 Том 12, стр. 453. Речь идет о дружбе Николая Второго с императором Вильгельмом (Вилли).
49 Том 12, стр. 453.
50 Там же, стр. 455.
51 Том 12, стр. 457.
52 Там же, стр. 457.
53 Там же, стр. 507.
54 Там же, стр. 508.
55 Там же, стр. 513.
56 Том 14, стр. 475-476.
57 Там же, стр. 472.
58 Том 13, стр. 453.
59 Том 14, стр. 478.
60 Там же, стр. 473.
61 Центральный архив. Переписка Николая и Александры Романовых. Москва-Петроград, Госиздат, 1923, том 3, стр. 224-225. Текст Солженицына – том 13, стр. 271.
62 Переписка, стр. 224.
63 Там же, стр. 143.
64 Там же, стр. 224.
65 Там же, стр. 207. "Черногорки" – жена и невестка Николая Николаевича.
66 Там же, стр. 254.
67 Там же, стр. 244.
68 Том 13, стр. 303.
69 Там же, стр. 308.
70 Там же, стр. 312.
71 Там же, стр. 303.
72 Там же, стр. 276.
73 Там же, стр. 314.
74 Том 14, стр. 216.
75 Там же, стр. 217.
76 Переписка Николая и Александры Романовых. Москва-Ленинград, 1927, том 5, стр. 105-196.
77 Том 14, стр. 417.
78 Там же, стр. 417.
79 Том 14, стр. 408.
80 Там же, стр. 406.
81 Там же, стр. 577.
82 Там же, стр. 495.
83 Там же, стр. 484.
84 Там же, стр. 486.
85 Там же, стр. 490.
86 Там же, стр. 491.
87 Там же, стр. 492.
88 Там же, стр. 496.

КНИГА О ТВОРЧЕСТВЕ ВЛАДИМИРА МАКСИМОВА

Владимир Максимов — одна из самых сложных и многогранных фигур нашей эмиграции. Крупный, сложившийся в России писатель, публицист, бессменный главный редактор «Континента», руководитель необычной, смело действующей международной организации «Интернационал Сопротивления», которая объединяет антитоталитарные силы во всем мире. В такой ситуации трудно отделить писателя от общественного деятеля. И вокруг Максимова, как и вокруг Солженицына, идут яростные споры. А тут еще новый, неожиданный поворот в его творчестве. После повестей и романов в большей или меньшей степени автобиографичных, отражающих разные грани личности писателя, Максимов обратился к русской истории. Его роман о легендарном Верховном Правителе России, адмирале Колчаке, только что вышел в свет в издательстве «Третья волна»* и одновременно в немецком переводе.

Именно в момент этого творческого перелома уместно подвести первые итоги многолетней литературной деятельности писателя. Эту задачу и выполняет сборник статей о творчестве Владимира Максимова «В литературном зеркале», также опубликованный издательством «Третья волна».

Сборник подразделяется на две части — зарубежная критика и критика советского периода. Эта конфронтация свободного и подцензурного слова сама по себе интересна и поучительна. Стоит сравнить лишь некоторые названия. С одной стороны, «Раскаяние и просветление» (покойный Илья Рубин), «Страждущая русская земля и русская душа» (Жан-Пьер Морель), «Владимир Максимов и другие. Религиозное течение в современной русской литературе» (Рышард Лужный). С другой стороны, «Спор века», «Иду к горизонту», «Путь к высотам», «Память сердца неистребима». И это о творчестве одного, неизменно верного себе, никогда не покривившего душой писателя. Воистину, советская критика, даже в лучших своих проявлениях, поражена проклятием особого, казенного языка, который французы окрестили «деревянным», а мы — дубовым.

Из вышесказанного нетрудно понять, что зарубежная, в том числе и эмигрантская, критика куда интереснее. Интереснее не только потому, что авторы зарубежных статей писали их в условиях полной свободы, но и потому, что они включают в поле своего обозрения большие романы Владимира Максимова — «Семь дней творения», «Карантин», «Прощание из ниоткуда» и другие его произведения. Читая эти статьи, читатель, знакомый с прозой писателя (а иной вряд ли возьмет эту книгу в руки), получает благодатную возможность заново вспомнить, заново пережить, заново продумать максимовскую прозу.

В эпоху торжества формальных изысканий, эпоху коммерсиализации литературы, эпоху всеобщей утраты нравственных ценностей многих критиков поражает прежде всего моральность Максимова, его бескомпромиссность в вопросах добра и зла, подлинно христианская душа писателя. Для Ильи Рубина, написавшего прекрасную статью, максимовский двойник — это Чарльз Диккенс. Как он проникновенно говорит: «Превращаясь постепенно из литературы русской, то есть общечеловеческой, в литературу советскую, то есть внечеловеческую, она все более теряла главное свое достояние — безошибочность различия Добра и Зла... Нет, мы уже не ждали всего этого от современной русской литературы — просто, когда становилось уже совсем невмоготу, откладывали в сторону «Тихий Дон» и брали в руки затрепанный томик «Оливера Твиста». Повторяю — мы уже не ждали, когда в свет начали выходить один за другим романы Владимира Максимова».

Для Рышарда Лужного и Жан-Пьера

* Владимир Максимов. «Заглянуть в бездну». «Третья волна», Париж—Нью-Йорк, 1986.

Мореля, главный источник максимовского вдохновения — Библия и особенно Новый Завет. А вот как размышляет о Максимове Владимир марамзин: «Представляю, насколько же пресной кажется западной интеллигенции проза, подобная романам Солженицына и Максимова. И дело тут не в простоте формы, о которой часто говорят: и у того и у другого она достаточно сложна. Но что же это происходит: мы читаем книги, где зло есть зло и добро есть добро, и ничто не рядится парадоксально друг в друга, а если рядится, то не для авторского сознания... Иностранец морщится, для него старомодно, но русский читатель самого разного уровня воспринимает эти книги как нужнейшие и современнейшие. Я не знаю, как это объяснить. Может быть, Россия и русские, первыми определив болезнь, надвигающуюся на человечество, первыми же почувствовали и возможность выздоровления?»

В статье Марамзина много говорится и о стиле максимовских романов. Он, в частности, отмечает естественность, органичность, простоту стиля писателя. По его словам, роман «Семь дней творения» «принадлежит к тем книгам, которые как бы уже не являются литературой, но явлением природы. Нельзя представить себе, что еще совсем недавно этой книги не существовало». Эти наблюдения отчасти перекликаются с мыслями Зенты Мауриной* : «Произведения Максимова — это не искусно разбитый сад, ...не интеллектуально проложенная автострада... Его мир — это открытая, огромная степь, то цветущая, то высохшая, как пустыня... Без эстетизации, но и без огрубления, он как бы нанизывает страстным, богатым красками языком, одну на другую картины, наполненные фактами русского бытия, и прерывает их риторическими вопросами, философскими признаниями, не опасаясь повторений».

Преимущественно стилю, а также «образу автора» посвящена обширная и глубокая статья Леонида Ржевского «Триптих В.Е.Максимова. Алгебра и гармония», где автор исследует творческий метод большого русского писателя. Он, в частности, отмечает сферическую глубину максимовских произведений, их эллиптичность, причудливую архитектонику, присутствие двух героев: героя действующего и героя-рассказчика комментирующего, исключительное мастерство диалогической речи, «будто из огромной смирительной камеры выпустили на вольный воздух десятки вынужденных молчальников, страшившихся даже в мыслях выговорить неположенное и теперь вдруг обретших и мысль, и слово, и право на духовные поиски».

Любопытнейшую статью посвятил Максимову Анатолий Краснов-Левитин. Эта статья — не ученая, не литературоведческая. Краснов-Левитин шаг за шагом сопереживает максимовским книгам. Хвалит, ругает, думает, сопоставляет со своим жизненным опытом. Только у настоящего писателя и может появиться такой въедливый, дотошный, такой настоящий читатель.

Особняком стоит в книге статья известного американского критика Фердинанды Эберштадт «Из стола — на Запад», опубликованная в журнале «Комментари» и посвященная творчеству нескольких советских (в основном, бывших советских) писателей: Юрия Трифонова, Василия Аксенова, Владимира Корнилова и Владимира Максимова. Эта статья, во многом несправедливая по отношению к Аксенову и Трифонову, а также страдающая кое-какими фактическими неточностями, вызвала многочисленные читательские отклики, часть из которых была напечатана в «Комментари» и воспроизведена в рецензируемой книге. Следует, однако, сказать, что Максимова Эберштадт ценит чрезвычайно высоко, называя его «самобытным русским гением». Знаменателен конец ее очерка о Максимове: «Но за всеми политическими предостережениями у Максимова стоит более значительная художественная цель — вознести хвалу Богу, славя все его творения. Из всех откликов литературы на бедствия нашего времени это — самый редкий и самый желанный».

Можно ли найти лучшие слова похвалы для Владимира Максимова?

Галина Келлерман

* Ее статья озаглавлена в русском переводе с немецкого «Маленький оркестр надежды», но автор, вероятно, имел в виду цитату из песни Окуджавы «Надежды маленький оркестрик...».

ДНЕВНИК РОССИЙСКОЙ КАТАСТРОФЫ

Начало Первой мировой войны застало автора этого дневника*, 19-летнюю Катю Сайн-Витгенштейн, в семейном имении Броница (Бронницы) под Могилёвом-Подольском.

Понятия чести, человеческого достоинства, патриотизма были удивительно тверды в этой семье, в этой среде. Катя с ужасом думает о возможном приходе австрийцев: разве можно остаться под вражеской оккупацией?! Её брат, молоденький гвардейский офицер, заявляет: он пустит себе пулю в лоб, если узнает, что его родные остались в оккупированной неприятелем местности. При первом слухе о приближении фронта, ожидаемой сдаче Могилёва снимается с насиженного места и устремляется в глубь России...

А четверть века спустя в тех же самых местах — да и по всей Украине, и в Прибалтике, и в столице страны многие втихомолку ждали прихода немцев, жадно ловили слухи о приближении неприятельских войск — ждали их как избавителей.

Много должно было произойти в России самых невероятных событий, многое надо было испытать и пережить людям, чтобы так изменилось народное умонастроение.

Эти события — вернее, их страшное начало, — как раз и составляют содержание дневника Кати Сайн-Витгенштейн, который она вела в 1914-1918 гг.

Российская империя представлялась ей в четырнадцатом году незыбле-

* Кн. Е.Н.Сайн-Витгенштейн. Дневник. 1914-1918. Подготовила к печати Мария Разумовская. YMCA-Press, Париж, 1986 («Всероссийская мемуарная библиотека», основанная А.И. Солженицыным. Серия «Наше недавнее», выпуск 5-й).

мой, царская власть — священной, дарованной свыше, армия и прежде всего гвардейская власть — священной, дарованной — непобедимой. Она радуется тому, что столичные гвардейские полки первыми посланы на фронт — и первыми же полегли там («гвардия умирает, но не сдается!») — те самые полки, отсутствие которых в Петрограде в феврале 17-го позволило совершиться революции.

Впрочем, многое в дневнике свидетельствует, что революция так или иначе *должна была произойти* в России — месяцем ли раньше, месяцем позже... Все в стране начало непоправимо разлаживаться уже на втором году великой войны. В августе 1915 года в Киеве, который тогда был глубоким тылом, вдруг возникла паника: «Все укладываются, собираются, бегут... С другой стороны, весь вокзал завален беженцами (из западных областей Украины, — И.К.), начиная с перронов и всех залов и коридоров и кончая ступеньками подъезда. Завален в полном смысле этого слова, т.е. вся бесчисленная толпа этих стариков, детей и женщин лежит вповалку на своих узлах и просто на полу. Мы приехали в Киев в половине десятого вечера. Большая часть этих несчастных спала от истощения, равнодушная к тому, что мы почти что шагали через них».

В конце того же 1915 года юная Катя записывает свои впечатления от Петрограда военного времени:

«Все берется с бою, и немало нужно употребить военных хитростей и одержать побед, чтобы получить себе мяса, хлеба и молока на денное пропитание. Дерутся в лавочках, на базаре, в трамваях. Мясные, керосинные и свечные хвосты стоят по целым дням... Все, кто могут драть, дерут бессовестно, возмутительно! Дерут извозчики, дерут в магазинах, дерут все, не изменились только трамваи. Но зато и страдают же они от этого! Трамваи — это то, что больше всего бранят, о чем больше всего пишут в Петрограде. И правда, нигде не тратишь столько энергии, не портишь себе столько крови, как в трамваях. Начинается с того, что, когда подходит двойной вагон трамвая, на нем уже висят на всех ступеньках целые кисти лишних пассажиров. Несмотря на это, ждущая публика бросается, как на штурм, происходит короткая схватка, желающие войти толкаются, бранятся; желающие слезть кричат, толкают вниз стоящих на ступеньках... Вагон трогается. Петроградские трамваи *вообще* не ждут. Теперь на нем висят еще большие грозди пассажиров».

Удивительная вещь: прошли революции, войны, не раз сменились поколения, — но это питерское механическое бездушие, этот формализм остались и по-прежнему отличают хотя бы тот же городской транспорт. «Петроградские трамваи вообще не ждут» — не ждут они и сегодня: вагон трогается, хотя водитель видит, что люди, не успевшие добежать к моменту отправления, отчаянно спешат к нему, опаздывая на какие-то секунды... В российской провинции — ждут, а вот в Питере — ни за что.

...В 16-м году развал когда-то налаженного быта сделался еще более очевидным. Он сопровождался изрядным брожением умов, ежедневно подогреваемым сверху и снизу. Немалую роль играли здесь зажигательные речи думских краснобаев. Юная Катя Сайн-Витгенштейн читает газеты, слушает разговоры старших — и передает петроградскую атмосферу зимы 1916-17 четко и точно:

«Мы видим, что кругом все рушится, что все мы идем к какой-то пропасти, что только одно чудо может спасти нас. В России сейчас все делается, чтобы погубить Россию. Каждый шаг правительства направлен к этому. Кажется, еще никогда не было такого развала внутри страны, как сейчас. Наверно, это все разрешится в ближайшем будущем, и разрешится, конечно, катастрофой».

Ей не довелось присутствовать в Думе 1 ноября 1916 года на печально знаменитой речи Милюкова, где «наиболее сильное, центральное место» было гадко замаскированно немецкой цитатой и где прозвучали, до предела накалив атмосферу, возгласы оратора, бичующего правительство и царское окружение: «что это: глупость или измена?». Но зато Катя побывала на самом последнем заседании Думы 25 февраля 17-го года, когда накал страстей уже мешал ораторам членораздельно и связно говорить.

«Мои тогдашние взгляды на политику: огромное отвращение, разворачивание и предчувствие беды», — записывает она в дневнике.

Беда, действительно, висела в воздухе; разгул страстей можно было объяснить и затяжной войной, и безответственными речами политиков, и «мясными, керосиновыми и свечными хвостами» (а к началу 17-го года — уже и хлебными), — и все же, видимо, первопричиной небывалого возбуждения масс, разброда и последовавшего краха были внеземные силы (на что уже в 20-е годы публично обратил внимание биофизик А.Л.Чижевский). Ничего не зная о них, Катя Сайн-Витгенштейн, тем не менее, оставила нам такое примечательное свидетельство, относящееся к тому же 25-му февраля:

«...Это было первый раз в жизни, когда я видела настоящее северное сияние: все небо было покрыто блестящими синими и красными языками пламени, которые освещали темные улицы и создавали какое-то апокалиптическое настроение. Это был один и единственный раз в жизни, когда я видела северное сияние над всем Петроградом. Потом, конечно, казалось, что это было предчувствие (предвестие? — И.К.) той страшной катастрофы, которая произошла на следующую ночь» — то есть Февральской революции.

Многие записи в Катином дневнике, сделанные по свежим следам событий, носят отпечаток тогдашних минутных настроений. Например, она то восхищается Керенским, то бранит его; то возмущается «бунтующей чернью», «предателями-солдатами», то признает вину привилегированных слоев общества перед народной массой. Впрочем, Катины рассуждения такого рода, доверенные ею дневнику, были свойственны очень и очень многим интеллигентным людям в дворянской среде, и не исключено, что, раз придя к этим выводам, она осталась верна им всю жизнь. Я имею в виду прежде всего обстоятельную запись, сделанную ею в сентябре 1917 года:

«Мы, т.е. наше сословие, уже в продолжение веков виноваты перед другими сословиями. Об этом мы не вспоминаем, но ведь это естественно, что ненависть к нам, к нашему сословию, ненависть, основанная на зависти, — должна же была вспыхнуть рано или поздно. Теперь они нас ненавидят упорно и зло, не различая отдельных личностей, а видя только все сословие «бар», «буржуев», «господ» и «панов», которое столько услужливых людей им советует еще больше ненавидеть. Что они ненавидят нас, это понятно и это *простительно*, но ведь и мы ненавидим

их, ненавидим так же зло и упорно, да еще вдобавок презираем их... Мы их обвиняем в глупости, в алчности, в скотской грубости и грязи, в том, что они лишены патриотизма и всякого человеческого понимания, кроме шкурных интересов. Что они темны и неразвиты, это конечно правда, но они ли в этом виноваты? Они не патриоты, им дела нет до России, но кто их учил любить родину? Алчность, грубость, нахальство и глупость — это их отличительные признаки, но разве можно требовать лучшего от народа, недавно бывшего рабом, от народа, не тронутого цивилизацией и культурой? А такое суждение о народе есть тоже только суждение о массе, а что отдельные личности есть и не такие — в этом мы могли сами неоднократно убедиться».

Действительно, в России — да, впрочем, и почти во всей Восточной Европе, особенно в Австро-Венгрии, в Польше, — пропасть между дворянством и «простым народом» оставалась даже и в XX веке очень глубокой. Преодоление этой пропасти, безусловно, назрело. Но приняло оно такие формы, что в перечне ужасов и массовых преступлений нашего столетия ужасы, творившиеся в послереволюционной России, занимают бесспорное первое место.

Кате Сайн-Витгенштейн посчастливилось — она пробыла в большевистской России всего несколько месяцев: в ноябре 18-го вся семья благополучно перебралась через Днестр, ушла на Запад, и началась долгая Катина жизнь в эмиграции (Екатерина Николаевна Сайн-Витгенштейн умерла в Вене в 1983 году).

Перечитывая и готовя к изданию в последние годы дневник, который вела молодой девушкой, она сохранила в нем следующие строки — зрелое и глубокое суждение о российской революции, вылившееся из-под ее пера в январе 1918-го:

«Во многом революция принесла пользу: она заставила некоторых углубиться в самих себя, заставила серьезно думать о тех вопросах, которые так навязчиво выдвинула. Она заставила многих одуматься и раскаяться. Она заставила многих вспомнить и даже понять, что жизнь — это тяжелый долг и испытание. Это — польза для молодежи, для будущих граждан. Это — заслуга революции.

Но, с другой стороны, революция (кроме того, что уничтожила Россию, что есть великое неискупаемое преступление по отношению к патриотизму и истории) сделала огромное количество людей озлобленными, что есть преступление неменьшее по отношению к человечеству...

Надо попытаться стать на ту точку зрения, что то, что мы называем земными благами, это не так устойчиво и важно. Раньше было трудно стать на эту точку зрения, теперь стало легче. Куда делось все то, что считается высшим благом? Богатство, знатность, значение в обществе, карьера, собственность? Ничего этого больше нет. Лишенный всего этого, человек невольно останется один на один со своей совестью».

Как, однако, больно ей за Россию! И она вновь и вновь возвращается к этой главной своей боли:

«С союзниками мы поступили подло, мерзко, нет даже слов выразить, как подло мы с ними поступили! (...) История беспристрастна: она перед всем светом заклеймит это позорное поведение России, и этот позор будет вечный», — записывает Катя в дневнике в июне 1917-го.

Ну, это еще, положим, вопрос: англичане и французы — тоже не Бог весть как благородно себя вели в отношении своей союзницы России — и до 1917-го, и после. Но Катя воспринимает именно так: это *мы* их предали, это наши солдаты братались с немцами, отказываясь воевать, — в то время как на Западе шли кровопролитные бои, и немцы слали туда дивизию за дивизией, со спокойной душой оголяя многие участки своего восточного фронта, *нашего* фронта. Она далека от мысли, что Россию погубил именно этот злосчастный союз с Англией и Францией, нелепая и ненужная с самого начала война против Германии.

Но внешне в конце войны, действительно, все выглядело так, как она пишет: «Французы и англичане жгут ордена, полученные от русских. Шведы не платят по текущим счетам русским подданным» (запись от 6 января 1918). И чувство стыда за страну, с которой еще недавно считалась вся Европа — и англичане, и французы, и немцы, и те же шведы, теперь все подряд ее откровенно презирающие, — диктует Кате такие горькие строки:

«Сейчас нет такого человека за границей, который бы не презирал даже это слово — *русский*!».

Судьба привела княгиню Е.Н.Сайн-Витгенштейн в Чехословакию, а затем в Австрию, где ей суждено было прожить без малого четыре десятилетия. Наверное, ее отношение к «центральным державам», как называли в свое время Германию и Австрию (Австро-Венгрию), на склоне лет существенно изменилось. Может быть, переменились и другие представления, казавшиеся молодой девушке на заре века бесспорными и незыблемыми. Но мы знакомимся не с ее мемуарами, а с дневником, что, как писал Екатерине Николаевне А.И.Солженицын, гораздо ценнее и дороже: «И не потому только, что пишется для себя — а *современно*, как не может потом восстановить ничья память, особенно — о подробностях настроений, которые потом изглаживаются и меняются...».

Что можно добавить к этому? Только одно: благодарность издателю, сделавшему дневник Кати Сайн-Витгенштейн нашим общим достоянием.

Иосиф Косинский

ДАР ДОБРОТЫ

В этом (1986) году в парижском издательстве "Альбатрос" вышла из печати книга прозы (рассказы и повесть) Сергея Мамонтова "Сказание".* Издательство "Альбатрос" представляет читателю, в основном, произведения авторов первой эмиграции. Среди них – Д. Кленовский, А. Давыдов, С. Рафальский, И. Одоевцева, Странник, С. Шаршун, З. Шаховская и др. И Сергей Мамонтов – не исключение. Рассказ о его книге я хотел бы предварить небольшой биографической справкой, необходимой здесь, по-

* С. Мамонтов. Сказание. Париж, "Альбатрос", 1986.

скольку имя автора малознакомо читателю "третьей волны", а в метрополии – практически неизвестно.

С. Мамонтов родился в 1898 году в московской купеческой семье. Известный меценат Савва Мамонтов был братом его деда. В 1916 году Сергей Мамонтов окончил гимназию и поступил в Московский институт путей сообщения, но уже через год он идет на фронт, а во время Гражданской войны сражается в рядах Белой армии. Этому трагическому в истории России периоду посвящена его автобиографическая книга "Походы и кони", удостоенная в 1979 году литературной преммии имени В. Даля и в 1981 году опубликованная издательством "ИМКА-Пресс".

В конце 1920 года Сергей Мамонтов покинул Россию. Сначала – Галлиполи, через год – Париж, а в 1922 году он переезжает в Берлин, где заканчивает архитектурное отделение Высшего Технического училища. В конце Второй мировой войны, перед приходом советских войск, ему удалось уйти в Тироль, занятый американцами. Оттуда он перебирается в Центральную Африку, где живет и работает около 15 лет. После ареста в 1962 году (поводом послужила его юмористическая статья, напечатанная в Америке) и последующей высылки во Францию, он работает архитектором в городе Валанс, а потом в Каннах, где живет и поныне.

Как справедливо пишет в послесловии к "Сказанию" профессор Ренэ Герра (он же и редактор и издатель книги): "Мамонтов несомненно обладает своеобразным даром повествования. Его "Сказание об Иване Богатыре" обнаруживает определенное историческое чутье, более того, автор самобытно сочетает в нем реалистический подход с описанием сказочно далеких времен". Трансформируя традиционный фольклорный образ Иванушки-дурачка, используя летописные источники, Сергей Мамонтов воссоздает яркую и достоверную картинку из жизни древне-русского княжества и половецкой орды, с запоминающимися персонажами и деталями быта. С большой симпатией и сочувствием автор относится к своему герою Ивану, сироте и подкидышу, сумевшему, с Божьей помощью, победить грозных половецких богатырей.

Забавен коротенький рассказ "Пушкин". Его несомненные достоинства – отсутствие фальшивой патетики, надуманных, притянутых за уши положений, чувство юмора.

Тема следующего рассказа "Проблема" сложна и неоднозначна. В поле зрения автора судьба людей, психически не здоровых. Красивая, воспитанная, физически полноценная девушка больна одной из форм идиотии, выражающейся в ее полной апатии к окружающему миру. Ее мать не может обратиться к врачам, скрывает дочь даже от знакомых: они живут в нацистской Германии, где ненормальных уничтожали (скажем от себя: удивительно, почему аккуратные немцы не начали столь благородную кампанию с фюрера). С одной стороны, рассказчик приводит удручающую статистику о феноменальной способности идиотов к размножению, с катастрофическими последствиями для общества, вспоминает спартанцев, бросавших неполноценных детей в пропасть, с другой – напоминает читателю, что спартанцы создали лишь мускулистый сильный тип воина, а вот в Афинах, не подверженных варварскому обычаю, развились искусства и философия, говорит также о любви многих народов к "дурачкам", юродивым, делающих из них часто своих героев. В конце концов, автор склоняется к гуманистическому решению проблемы: доброта, сострадание должны победить. Об этом красноречиво свидетельствует новелла "Юродивый граф", тематически примыкающая к рассказу "Проблема".

Сюжет "Розовой чайки" – романтичная и, по-своему, трогательная история Д.А. Бутурлина, ученого-орнитолога, собравшего богатейшую коллекцию редких птиц, в которой уникальная розовая чайка – жемчужина. Свою коллекцию ученый подарил Британскому музею. Спустя много лет Бутурлин едет в Лондон на конференцию орнитологов и пытается выкрасть из музея... яйца розовой чайки.

В повести "Чудо" своеобразно переплелись извечная нравственно-эстетическая проблематика в искусстве ("Портрет" Гоголя, пушкинский "Моцарт и Сальери") с антропософскими идеями Рудольфа Штайнера. В пределах журнальной рецензии невозможно пересказать все перипетии в судьбах итальянских художников Возрождения, Лоренцо, аскетически преданного искусству, и его бывшего друга, Франческо, разменявшего свой талант на звонкую монету.

В заключение хотелось бы отметить, что автору удалось сохранить, в основном, русский язык в первозданности и чистоте. Однако, 66 лет эмиграции дают себя знать. Поэтому можно встретить, например, такую конструкцию: "Правительство делало пропаганду своего решения..." или лексему: "фильмовая артистка". Но, в целом, беллетристика Мамонтова любопытна, а, главное, добра. И здесь нельзя не согласиться с Ренэ Герра: "Сергей Мамонтов своими воспоминаниями и рассказами внес живые страницы в бесконечный роман, – имя которому эмигрантская литература".

Сергей Петрунис

Читайте в следующем номере «Стрельца»
Проза: Михаил Лемхин, Борис Пантелеймонов
Поэзия: Василий Бетаки, Олег Охапкин
Воспоминания Гавриила Гликмана
Очерк Вадима Крейда о жизни и творчестве Георгия Иванова
О карьере Юлиана Семенова
Рецензии на книги

гайто газданов



ЧЕРНЫЕ ЛЕБЕДИ

рассказ

Двадцать шестого августа прошлого года я раскрыл утром газету и прочел, что в Булонском лесу, недалеко от большого озера, был найден труп русского, Павлова. В бумажнике его было полтораста франков; там же лежала записка, адресованная его брату:

«Милый Федя, жизнь здесь тяжела и неинтересна. Желаю тебе всего хорошего. Матери я написал, что уехал в Австралию».

Я очень хорошо знал Павлова, и знал, что именно двадцать пятого августа он застрелился: этот человек никогда не лгал и не хвастался.

Числа десятого того же месяца я пришел к нему за деньгами: мне нужно было взять в долг полтораста франков.

— Когда вы сможете их вернуть?

— Числа двадцатого, двадцать пятого.

— Двадцать четвертого.

— Хорошо. Почему именно двадцать четвертого?

— Потому, что двадцать пятого будет поздно. Двадцать пятого августа я застрелюсь.

— У вас неприятности? — спросил я.

Я не был бы так лаконичен, если бы не знал, что Павлов никогда не меняет своих решений, и что отговаривать его значит попусту терять время.

— Нет, особенных неприятностей нет. Но живу я, как вы знаете, довольно скверно, в будущем никаких изменений не предвижу, и нахожу, что все это очень неинтересно. Дальнейшего смысла так же продолжать есть и работать, как сейчас, я не вижу.

— Но у вас есть родные...

— Родные? — сказал он. — Да, есть. Они особенно не огорчатся; то есть, им, конечно, некоторое время будет неприятно, но, в сущности, никто из них во мне не нуждается.

— Ну, хорошо, — сказал я, — я все-таки думаю, что вы неправы. Мы еще поговорим об этом, если вы хотите, конечно, вполне объективно. Вы вечерами дома?

— Да, как всегда. Приходите. Впрочем, мне кажется, я знаю, что вы мне скажете.

— Это мы увидим.

— Хорошо, до свиданья, — сказал он, открывая мне дверь и улыбаясь своей обыкновенной, обидной и холодной улыбкой.

После этого разговора я уже твердо знал, что Павлов застрелится: я был так же в этом уверен, как в том, что, выйдя от Павлова, пошел по тротуару. Однако, если бы о решении Павлова мне сказал кто-нибудь другой, я счел бы это невероятным. Я вспомнил тут же, что уже года два тому назад один из наших общих знакомых говорил мне:

— Вот увидите, он плохо кончит. У него не осталось ничего святого. Он бросится под автобус или под поезд. Вот увидите...

— Друг мой, вы фантазируете, — ответил я.

Из всех, кого я знал, Павлов был самым удивительным человеком во многих отношениях; и, конечно, самым выносливым физически. Его тело не знало утомления; после одиннадцати часов работы он шел гулять, и, казалось, никогда не чувствовал усталости. Он мог питаться одним хлебом целые месяцы, и не ощущать от этого ни недомоганий, ни неудобств. Работать он умел, как никто другой, и так же умел экономить деньги. Он мог жить несколько суток без сна; вообще же он спал пять часов. Однажды я встретил его на улице и в половине четвертого утра; он шел по бульвару неторопливой походкой, заложив руки в карманы своего легкого плаща — а была зима; но он, кажется, и к холоду был нечувствителен. Я знал, что он работает на фабрике, и что до первого фабричного гудка остается всего четыре часа.

— Поздно вы гуляете, — сказал я, — ведь вам скоро на работу.

— У меня еще четыре часа времени. Что вы думаете о Сен-Симоне? Он, по-моему, был интересный человек.

— Почему вдруг Сен-Симон?

— А я сдаю политическую историю Франции — сказал он — и там, как вам известно, фигурирует Сен-Симон. Я занимался с вечера до сих пор, теперь решил пройтись.

— А вы сегодня не работаете?

— Нет, почему же, работаю. Спокойной ночи.

— Спокойной ночи.

И он продолжал также медленно шагать по бульвару. Но физические его качества казались несущественными и неважными по сравнению с его душевной силой, пропадавшей совершенно впустую. Он сам не мог бы, пожалуй, определить, как он мог бы использовать свои необыкновен-

ные данные; они оставались без приложения. Он мог бы, я думаю, быть незаменимым капитаном корабля, но при непременном условии, чтобы с кораблем постоянно происходили катастрофы; он мог бы быть прекрасным путешественником через город, подвергающийся землетрясению или через страну, охваченную эпидемией чумы или через горящий лес. Но ничего этого не было — ни чумы, ни леса, ни корабля; и Павлов жил в дрянной парижской гостинице и работал, как все другие. Я подумал однажды, что может быть, его же собственная сила, искавшая выхода или приложения, побудила его к самоубийству; он взорвался как закупоренный сосуд от страшного внутреннего давления. Но всякий раз, пытаясь понять причины его добровольной смерти, я вынужден был отказаться от этого, так как к Павлову не подходил ни один из тех принципов, которые определяют поведение человека в самых разнообразных случаях; и в результате Павлов неизменно оказывался вне всей системы рассуждений и предположений; он был в стороне, он ни на кого не походил.

У него была особенная улыбка, от которой вначале становилось неприятно: это была улыбка превосходства, причем чувствовалось — это ощущали почти все, даже самые тупые люди — что у Павлова есть какое-то право так улыбаться.

Он никогда не говорил неправды; это было совершенно удивительно. Он, кроме того, никому не льстил и действительно, говорил каждому, что он о нем думал; и это всегда бывало тяжело и неловко и наиболее находчивые люди старались обратить это в шутку и смеялись; и он смеялся вместе с ними — своим особенным, холодным смехом. И только один раз за все время моего долгого знакомства с ним я услышал в его голосе мгновенную мягкость, к которой считал его неспособным. Мы говорили о воровстве.

— А, это любопытная вещь — сказал он. — Вы знаете, я раньше был вором; но потом решил, что не стоит и перестал воровать и теперь уж больше ничего не украду.

— Вы были вором? — удивился я.

— Что же тут странного? Большинство людей воры. Если они не крадут, то из боязни или по случайности. Но в душе почти каждый человек вор.

— Мне это очень часто приходилось слышать; я, пожалуй, готов согласиться, что это одно из наиболее распространенных заблуждений. Я не думаю, чтобы каждый человек был вор.

— А я думаю. У меня на воров особенное чутье. Я вижу сразу, может человек красть или нет.

— Я, например?

— Можете, — сказал он. — Сто франков вы не украдете. Но из-за женщины можете украсть и если будет соблазн больших денег — тоже.

— А Лева? — спросил я. Я учился с Павловым уже заграницей; у нас было много общих товарищей — одним из них был Лева — веселый, беспечный и в общем неплохой человек.

— Украдет.

— А Васильев?

Это был один из лучших учеников — угрюмый и болезненно добросовестный человек, неряшливо одетый, очень усердный и скучный.

— Тоже, — не колеблясь сказал Павлов.

— Как? Но он добродетелен, трудолюбив и каждый день молится Богу.

— Он, главное, трус, а все остальное, что вы сказали — неважно. Но он вор — и мелкий вор при этом.

— А Сережа?

Сережа был наш товарищ, лентяй, мечтатель и диллетант — но очень способный; он любил часами лежать на траве, думая о несбыточных вещах, мечтая о Париже — мы жили тогда в Турции — о море и еще Бог знает о чем; и все настоящее, что окружало его, было ему чуждо и безразлично. Однажды, накануне одного из важных экзаменов я проснулся ночью и увидел, что Сережа не спит и курит. — Ты что? — спросил я, — волнуешься? — Да, немного, — сказал он неуверенно. — Это пустяки. — Нет, не совсем. — Ты боишься провалиться? — Да ты о чем? — сказал он с удивлением. — Об экзамене, конечно. — Ах нет, это неинтересно. Я совсем о другом думаю. — О чем же именно? — Я думаю: паровая яхта стоит очень дорого, а парусную не стоит делать. А на паровую у меня не будет денег — сказал он с убеждением; а ему не на что было купить папирос. Он курил — и бросил окурок; было темно и мне показалось, что окурок упал на одеяло. — Сережа, — сказал я через минуту, — у меня такое впечатление, что твой окурок упал на одеяло. — Ну что же? — ответил он. — Дай ему разгореться, тогда будет видно. Но чаще они потухают; табак сырой. И он заснул и, наверное, видел во сне яхту.

— А Сережа? — повторил я.

И лицо Павлова в первый раз приняло непривычное для него, мягкое выражение и он улыбнулся совсем иначе, чем всегда — удивительной и открытой улыбкой.

— Нет, Сережа никогда не украдет, — сказал он. — Никогда.

Я был одним из немногих его собеседников; меня влекло к нему постоянное любопытство; и разговаривая с ним, я забывал о необходимости — которую обычно не переставал чувствовать — каким-нибудь особенным образом проявить себя — сказать что-либо, что я находил удачным или высказать какое-нибудь мнение, непохожее на другие; я забывал об этой отвратительной своей привычке и меня интересовало только то, что говорил Павлов. Это был, пожалуй, первый случай в моей жизни, в которой мой интерес к человеку не диктовался корыстными побуждениями — то есть желанием как-то определить себя в еще одной комбинации условий. Я не мог бы сказать, что любил Павлова, он был мне слишком чужд — да и он никого не любил и меня так же, как остальных. Мы оба знали это очень хорошо. Я знал, кроме того, что у Павлова не было бы сожаления ко мне, если бы мне пришлось плохо; и убедись я, что возможность такого сожаления существует, я тотчас же отказался бы от нее.

Я помнил, как однажды Павлов рассказывал мне о знакомом, который попросил у него денег, дав честное слово, что вернет их завтра — и не приходил две недели; затем явился к нему ночью и со слезами просил прощения — и еще хотя бы пять франков, так как ему нечего есть.

— Что же вы сделали? — спросил я.

— Я дал ему денег. Я другому человеку не дал бы; но ведь он не человек, я ему сказал это. Но он промолчал и ждал, покуда я достану деньги из кармана.

Он улыбнулся и прибавил:

— Я дал ему, между прочим, десять франков.

У него не было душевной жалости, была жалость логическая; мне кажется, это объяснялось тем, что сам он никогда не нуждался в чьем бы то ни было сочувствии. Его не любили товарищи; и только уж очень простодушные люди были с ним хороши: они его не понимали и считали немного чудаковатым, но, впрочем, отличным человеком. Может быть, это было в известном смысле верно; но только не в том, в каком они думали. Во всяком случае Павлов был довольно щедр; и деньги, которые он зарабатывал, проводя десять-одиннадцать часов на фабрике, он тратил легко и просто. Он довольно много денег раздавал, у него было множество должников; и нередко он помогал незнакомым людям, подходившим к нему на улице. Как-то, когда мы с ним проходили по пустынному бульвару Араго — было темно и довольно поздно и холодно, во всех домах были наглухо закрыты ставни, деревья без листьев еще особенно, как мне казалось, усиливали впечатление пустынности и холода — к нам подошел обтрепанный, коренастый мужчина и хрипло сказал, что он только вчера вышел из госпиталя, что он рабочий, что он остался на улице зимой; не можем ли мы ему чем-нибудь помочь? — Voila mes papiers, — сказал он, зная, что на них не посмотрят. Павлов взял бумаги, подошел к фонарю и показал мне их; там не было никакого упоминания о госпитале.

— Вы видите, как он лжет, — сказал он по-русски.

И, обратившись к бродяге, он засмеялся и дал ему пятифранковый билет.

В другой раз мы встретили русского хромого, который тоже просил денег. Я его уже знал. Когда я однажды — это было вскоре после моего приезда в Париж — вышел в летний день из библиотеки и проходил по улице, читая, я вдруг почувствовал, как кто-то просунул мне над книгой сухую, холодную руку — и подняв глаза, я увидел перед собой человека в приличном сером костюме и хорошей шляпе, хромого. Небрежным движением приподняв шляпу, он сказал с необыкновенной быстротой:

— Вы русский? Очень рад познакомиться, благодаря моей инвалидности, на которую вы можете обратить внимание, и будучи лишен возможности, подобно другим, зарабатывать деньги тяжелым эмигрантстким трудом в изгнании, я вынужден к вам обратиться в качестве бывшего боевого офицера добровольческой армии и студента последнего курса историко-филологического факультета московского императорского университета, как бывший гусар и политический непримиримый враг коммунистического правительства с просьбой уделить мне одну минуту вашего внимания и, войдя в мое положение, оказать мне посильную поддержку.

Он произнес все это, не останавливаясь, и я бы никогда не запомнил его длинного и бестолкового обращения, тем более, что я половины не понял — если бы впоследствии мне не пришлось слышать это еще несколько раз — и почти без изменений; только иногда он оказывался студентом не московского, а казанского или харьковского университета и не гусаром, а уланом или артиллеристом или лейтенантом черноморского флота. Это был странный человек; я видел его случайно, вечером, в садике возле церкви Сэн-Жермен де Прэ — он сидел рядом с пожилой и грустной женщиной, согнувшись и опустив голову и у него был такой несчастный вид, что мне стало жаль его. Но через три дня в кафе на площади Одеон этот же человек курил сигару, пил какую-то лиловую жидкость в особенно длинном стакане и обнимал правой рукой раскрашенную проститутку.

В тот день, когда он впервые подошел ко мне, у меня было всего шесть франков и я сказал ему:

— К сожалению, я не могу вам помочь, у меня нет денег. Я могу вам дать франка два; больше мне было бы трудно.

— Три пятьдесят, пожалуйста, — сказал он. Я удивился:

— Почему именно три пятьдесят?

— А потому, молодой человек, — ответил он почти наставительно, — что три пятьдесят, это цена обеда в русской обжорке. И приняв опять свой благородный вид, он прибавил: благодарю вас, коллега. И ушел, прихрамывая и опираясь на свою трость.

И вот именно он обратился к Павлову и ко мне.

— Вы русские? Очень рад познакомиться, благодаря моей инвалидности...

— Я уже это знаю, — сказал Павлов. — Мне известно, что вы учились в московском и казанском университете, были гусаром, уланом, артиллеристом и моряком. Не плавали ли вы на подводной лодке, между прочим, и не были ли в духовной академии?

— Вы его не знаете? — спросил он меня. — Я ему давал деньги уже пять раз.

— Знаю, — сказал я. — Я думаю, что насчет историко-филологического факультета, это он увлекается. Но вообще он несчастный человек.

— Следующий раз вы обратитесь к другим, — проговорил Павлов. — В общей сложности я заплатил вам пятьдесят франков: я считаю, что таких денег вы не стоите. Не думайте, что я вам это говорю, пользуясь вашим плохим положением: если бы на вашем месте был какой-нибудь архиерей, я бы сказал ему то же самое. Вот вам деньги.

Павлов жил в очень маленькой комнате одного из дешевых отелей Монпарнаса. Он покрасил сам ее стены, прибил полки, поставил книги, купил себе керосинку; и когда у него набиралась известная сумма денег, позволяющая ему некоторое время не работать, он проводил в этой комнате целые месяцы, один с утра до вечера, выходя на улицу только, чтобы купить хлеба или колбасы или чаю.

— Чем вы все время занимаетесь? — спросил я его в один из таких периодов.

— Я думаю, — ответил он.

Я не придал тогда значения его словам; но позже я узнал, что Павлов, этот непоколебимый и непогрешимый человек, был в сущности мечтателем. Это казалось чрезвычайно странным и менее всего на него похожим — и однако это было так. Я полагаю, что кроме меня никто об этом не подозревал, потому что никто не пытался расспрашивать Павлова о чем он думает, никому этого не приходило в голову, тем более, что сам Павлов был на редкость нелюбопытен; он делал опыты только над собой.

Он прожил в Париже четыре года, работая с утра до вечера, почти ничего не читая и ничем особенно не интересуясь. Потом вдруг он решил получить высшее образование. Это произошло потому, что кто-то в разговоре с ним подчеркнул, что кончил университет.

— Что же, университет это не Бог весть что, — сказал Павлов.

— Вы, однако, его не кончили.

— Да, но это случайно. Впрочем, вы мне подали мысль: я кончу университет.

И он стал учиться: поступил на философское отделение историко-филологического факультета и занимался вечерами после работы — что было бы всякому другому почти не под силу. Сам Павлов хорошо это знал. Он говорил мне:

— Вот пишут о каких-то русских, которые, ночью работают на вокзале, а днем учатся. Такие вещи напоминают мне описания военных корреспондентов; я помню, читал в газете о приготовлениях к бою и было сказано, что «пушки грозно стояли хоботами к неприятелю». Для всякого военного, даже не артиллериста, ясно, что этот корреспондент в пушках ничего не понимал и вряд ли их видел. Так и здесь: скажут какому-нибудь репортеру, а он и сообщает — дескать, ночью работают, а днем учатся. А пошлите вы такого репортера на ночную работу, так он даже своей хроники не сможет написать, а не то, что заниматься серьезными вещами.

Он задумался; потом улыбнулся, как всегда;

— Приятно, все-таки, что на свете много дураков.

— Почему это вам доставляет удовольствие?

— Не знаю. Есть утешение в том, что как вы ни плохи и ни ничтожны, существуют еще люди, стоящие гораздо ниже вас.

Это был единственный случай, в котором он прямо выразил свое странное злорадство; обычно он его не высказывал. Трудно вообще было судить о нем по его словам — трудно и сложно; многие, знающие его недостаточно, ему просто не верили — да это и было понятно. Он сказал как-то:

— Служа в белой армии, я был отчаянным трусом; я очень боялся за свою жизнь.

Это показалось мне невероятным, я спросил о трусости Павлова у одного из его сослуживцев, которого случайно знал:

— Павлов? — сказал он. — Самый храбрый человек вообще, которого я когда-либо видел.

Я сказал об этом Павлову.

— Ведь я не говорил вам, — ответил он, — что уклонялся от опасности. Я очень боялся — и больше ничего. Но это не значит, что я прятался. Я атаковал вдвоем с товарищем пулеметный взвод и захватил два пулемета, хотя подо мной убили лошадь. Я ходил в разведки — и вообще разве я мог поступать иначе? Но все это не мешало мне быть очень трусливым. Об этом знал только я, а когда я говорил другим, они мне не верили.

— Кстати, как ваши занятия?

— Через два года я кончу университет.

И я был свидетелем того, как через два года он разговаривал с тем своим собеседником, с которым он впервые заговорил о высшем учебном заведении. Они говорили о разных вещах и в конце разговора собеседник Павлова спросил:

— Ну, что же, вы продолжаете думать, что университетское образование, это случайность и пустяк?

— Больше чем когда бы то ни было.

И он пожал плечами и перевел речь на другую тему. Он не сказал, что за это время он кончил историко-филологический факультет Сорбонны.

Странное впечатление производила его речь: никогда во всем, что он говорил я не замечал никакого желания сделать хотя бы небольшое усилие над собой, чтобы сказать любезность или комплимент или просто умолчать о неприятных вещах; вот почему его многие избегали. Один раз, находясь в обществе нескольких человек, он сказал вскользь, что у него мало денег. Среди нас был некий Свистунов, молодой человек, всегда хорошо одетый и несколько хвастливый: денег у него было много и он постоянно говорил, сопровождая свои слова пренебрежительными жестами:

— Я не понимаю, господа. Вы не умеете жить. Я ни у кого не прошу взаймы, живу лучше вас всех и никогда не испытываю унижений. Я себе представляю, что должен чувствовать человек, просящий деньги в долг.

И вот этот Свистунов, зная, что Павлов исключительно аккуратен и что, предложив ему свою поддержку, он ничем не рискует, сказал, что он с удовольствием даст Павлову столько, сколько тот попросит.

— Нет, — ответил Павлов, — я у вас денег не возьму.

— Почему?

— Вы очень скупы, — сказал Павлов. — И к тому же мне не нравится ваша услужливость. Я ведь к вам не обращался.

Свистунов побледнел и смолчал.

Павлов не знал и не любил женщин. На фабрике, где он работал, его соседкой была француженка лет тридцати двух, не так давно овдовевшая. Он ей чрезвычайно нравился; во-первых, он был прекрасным работником, во-вторых, он был ей физически приятен: она иногда подолгу смотрела на быстрые и равномерные движения его рук, обнаженные выше локтя, на его розовый затылок и широкую спину. Она была простой работницей и считала Павлова тоже рабочим: он почти не говорил со своими товарищами по мастерской и она приписывала это его застенчивости, тому, что он иностранец и другим обстоятельствам, нисколько не соответствовавшим тем причинам, которые действительно побуждали Павлова молчать. Она неоднократно пыталась вызвать его на разговор, но он отвечал односложно.

— Il est timide, — говорила она.

Наконец ей это удалось. Он говорил по-французски несколько книжным языком — но ни разу не употребил ни одного слова «арго». Это была странная беседа: и нельзя было себе представить более разных людей, чем эта работница и Павлов.

— Послушайте, — сказала она, — вы человек молодой, и я думаю, что вы не женаты.

— Да.

— Как вы обходитесь без женщины? — спросила она.

Если у них было что-нибудь общее, то оно заключалось в том, что оба они называли вещи своими именами. Только говорили и думали они о разных понятиях; и я думаю, что расстояние, разделявшее их, было пожалуй, самым большим, какое может разделять мужчину и женщину.

— Вам необходима жена или любовница, — продолжала она. — Ecoute, mon vieux, — она перешла на «ты», — мы могли бы устроиться вместе. Я бы научила тебя многим вещам, я вижу, что ты неопытен. И потом — у тебя нет женщины. Что ты скажешь?

Он смотрел на нее и улыбался. Как она ни была нечувствительна, она не могла не увидеть по его улыбке, что сделала грубейшую ошибку, обратившись к этому человеку. У нее почти не осталось надежды на благополучный исход

разговора. Но все-таки — уже по инерции — она спросила его:

— Ну, что ты скажешь об этом?

— Вы мне не нужны, — ответил он.

В нем была сильна еще одна черта, чрезвычайно редкая: особенная свежесть его восприятия, особенная независимость мысли — и полная свобода от тех предрассудков, которые могла бы вселить в него среда. Он был un declasse как и другие: он не был ни рабочим, ни студентом, ни военным, ни крестьянином, ни дворянином — и он провел свою жизнь вне каких бы то ни было сословных ограничений: все люди всех классов были ему чужды. Но самым удивительным мне казалось то, что не будучи награжден очень сильным умом, он сумел сохранить такую же независимость во всем, что касалось тех областей, где влияние авторитетов особенно сильно — в литературе, в науках, в искусстве. Его суждения об этом бывали всегда непохожи на все или почти на все, что мне приходилось до тех пор слышать или читать.

— Что вы думаете о Достоевском, Павлов? — спросил его молодой поэт, увлекавшийся философией, русской трагической литературой и Ницше.

— Он был мерзавец, по-моему, — сказал Павлов.

— Как? Что вы сказали?

— Мерзавец, — повторил он. — Истерический субъект, считавший себя гениальным, мелочный, как женщина, лгун и картежник на чужой счет. Если бы он был немного благообразнее, он поступил бы на содержание к старой купчихе.

— Но его литература?

— Это меня не интересует, — сказал Павлов, — я никогда не дочитал ни одного его романа до конца. Вы меня спросили, что я думаю о Достоевском. В каждом человеке есть одно какое-нибудь качество, самое существенное для него, а остальное — так, добавочное. У Достоевского главное то, что он мерзавец.

— Вы говорите чудовищные вещи.

— Я думаю, что чудовищных вещей вообще не существует, — сказал Павлов.

Я пришел к нему пятнадцатого числа, пил с ним чай и потом заговорил о самоубийстве.

— Вам осталось десять дней, — начал я.

— Да, приблизительно. Ну, какие же вы приведете соображения, чтобы доказать нецелесообразность такого поступка? Вы можете говорить все, что вы думаете: вы знаете, что это ничего не изменит.

— Да, знаю. Но я хотел бы еще раз услышать ваши доводы.

— Они чрезвычайно просты, — сказал он. — Вот, судите сами: я работаю на фабрике и живу довольно плохо. Ничего другого придумать нельзя: я думал об одной поездке, но теперь мне кажется, что если бы она вдруг не оправдала моих надежд, это было бы для меня самым сильным ударом. Дальше: никому решительно моя жизнь не нужна. Моя мать успела меня забыть, я для нее умер десять лет тому назад. Сестры мои замужем и со мной не переписываются. Брат мой, которого вы знаете, оболтус двадцати пяти лет, обойдется без меня. В Бога я не верю; ни одной женщины не люблю. Жить мне скучно: работать и есть? Меня не интересует ни политика, ни искусство, ни судьба России, ни любовь: мне просто скучно. Карьеры я никакой не сделаю — да и карьера меня не соблазнила бы. Скажите, пожалуйста, после всего этого: какой смысл мне так жить? Если бы я еще заблуждался и считал, что у меня есть какой-нибудь талант. Но я знаю, что талантов у меня нет. Вот и все.

Он сидел против меня и улыбался и точно говорил всем своим высокомерным видом: вы видите, какие это все простые вещи и вместе с тем, я их понял, а вы не понимаете и не поймете. Я бы не мог сказать, что мне было жаль Павлова, как жаль было бы товарища, у которого я, может быть, вырвал бы из рук револьвер. Павлов был где-то вне сожаления: он был точно окружен средой, сквозь которую чувства других людей не могли проникнуть, как не проникают световые лучи через непрозрачный экран; он был слишком далек и холоден. Но я жалел о том, что через некоторое время перестанет двигаться и исчезнет из жизни такой ценный и дорогой, такой незаменимый человеческий механизм; и все его качества — неутомимость, храбрость и страшная душевная сила — все это растворится в воздухе и погибнет, не найдя себе никакого применения.

— Теперь скажите, что вы думаете по этому поводу, — сказал Павлов.

— Я думаю, — ответил я, — что вы неправы, когда ищете какое-то логическое оправдание всему: это действительно, потеря времени. Вот вы говорите, что вам скучно и что в вашем существовании нет смысла. Как такие абстрактные идеи могут вас заставить совершить какой бы то ни было поступок, вернее, я считаю этот вопрос второстепенным. Представьте себе, что я работаю четырнадцать часов подряд, устаю, как собака и становлюсь голоден так, точно не ел три дня. Затем я иду в ресторан, плотно обедаю, прихожу домой, ложусь на диван и закуриваю папиросу. На кой черт мне смысл?

Он пожал плечами.

— Или еще, — продолжал я. — Представьте себе, что вы прожили год без женщины: я бы не говорил вам этого, но ведь нам осталось говорить не так много, — поэтому у меня нет времени искать другой пример. Вы прожили год без женщины — и потом вы добились благосклонности девушки, которая становится вашей любовницей. Неужели и в этом вас будет интересовать смысл?

— Ну, это все вещи временные, — сказал он.

Меня удивляло то, что физическая любовь к жизни не была сильна у этого человека. Если бы он был болезненным юношей, это было бы понятно. Но он был исключительно силен и крепок; и такое соображение могло бы, пожалуй, объяснить то, что он не особенно устал бы от четырнадцати часов работы — но других вещей это не объясняло. Ничего похожего ни на отчаяние, ни на разочарование у Павлова не было. Я знал этого человека много лет, знал его ближе, чем другие и мог только думать в результате, что передо мной возникло и прошло таинственное явление, для определения которого у меня не оказалось ни мыслей, ни слов, ни даже интуитивного понимания. Я мог бы успокоиться на этом, сказав себе, что Павлов с его самоубийством так же загадочен для меня, как те животные, живущие на дне моря, которые совершенно похожи на растения, как ночной шум неизвестного происхождения, как множество других не человеческих явлений. Но я не мог примириться с этим.

— Есть что-нибудь на свете, что вы любите? — спросил

я. Я ожидал отрицательного ответа. Но Павлов сказал:

— Есть.

— Что же это такое?

И вдруг он заговорил. Я помню, какими странными показались мне его признания в тот вечер. Он говорил, не стесняясь, приводя ужасные подробности, которые в другое время покоробили бы меня: но тогда все казалось мне естественным — и ни на одну минуту я не мог забыть, что Павлов приговорен к смерти и что никакие силы не спасут его: и его голос, который тогда звучал и колебался, так и пропадет без отклика, так и заглохнет в этом теле, которое станет трупом. Он начал издалека и рассказал мне историю детства, долгие годы воровства, удивительную охоту с револьвером на барсука, в России, во Владимирской губернии, — речка, лодка, в которой он катался; и он казался явно взволнованным, когда заговорил о лебедях, которых называл самыми прекрасными птицами в мире.

— Знаете ли вы, — сказал он затем, — что в Австралии водятся черные лебеди? В известное время года, над внутренними озерами этой страны они появляются десятками тысяч.

И он говорил о небе, покрытом могучими черными крыльями — это какая-то другая история мира, это возможность иного понимания всего, что существует — говорил он — и это я никогда не увижу.

— Черные лебеди! — повторил он. Когда наступает период любви, лебеди начинают кричать. Крик им труден; и для того, чтобы издать более сильный и чистый звук, лебедь кладет шею на воду во всю длину и потом поднимает голову и кричит. На внутренних озерах Австралии! Эти слова для меня лучше музыки.

Он долго говорил еще об Австралии и черных лебедях. Он знал множество подробностей об их жизни; он читал все, что было о них написано, проводя целые дни за переводами английских и немецких текстов, со словарем и с записной книжкой в руках. Австралия была единственной иллюзией этого человека. Она соединила в себе все желания, которые когда-либо у него появлялись, все чего мечты и надежды. Мне казалось, что если бы он вложил всю силу своих чувств в один взгляд и устремил бы глаза на этот остров, то вокруг него закипела бы вода; и я увидел в своем воображении эту фантастическую картину, которую мог бы увидеть во сне: тысячи черных крыльев, закрывающих небо и холодный и пустой вечер на безлюдном берегу, возле которого кипит и волнуется море.

Я просидел с ним почти до утра — и ушел, томимый странными чувствами. — Всего хорошего — сказал мне Павлов. — Спокойной ночи. А мне через час на фабрику.

— Зачем это вам теперь? — против воли спросил я.

— Деньги, деньги. Я их не унесу с собой, конечно, но я должен заплатить нескольким людям. Неудобно пользоваться преимуществами своего положения.

Я промолчал.

— В сущности, я уезжаю в Австралию, — сказал он.

Я вышел на улицу, было утро, уже началась обычная жизнь; я смотрел на проезжавших и проходивших мимо меня людей и думал с исступлением, что они никогда не поймут самых важных вещей, мне казалось в то утро, что я их только что услышал и понял и если бы эта печальная тайна стала доступна всем, мне было бы тяжело и обидно. Как и всегда в первую минуту я увидел нечто невыразимое во всем, что окружало меня — в кинематографической витрине на углу, в остановленном грузовике со свернутыми колесами, чем-то похожем на человека, застывшего в неестественной и искривленной позе, в торговке зеленью, катившей свою ручную тележку — я увидел во всем этом непонятное движение и скрытый от меня смысл, в который я не мог сразу вникнуть; но против обыкновения, раздражение и немая досада на это продолжались недолго, так как в зависимости от того, что я только что слышал, все стало неважным и пустым, только зрительным впечатлением — как пыль, вдалеке поднявшаяся на дороге.

Двадцать четвертого августа я принес Павлову полтораста франков.

— Спасибо, — сказал он, подавая мне руку.

Я сидел у него целый вечер, мы говорили о разных предметах, не имевших отношения к его самоубийству. Тому, что он был совершенно спокоен, я не удивлялся: может быть, впервые он попал в такие обстоятельства, в которых ему пригодилось его неистраченное духовное могущество — и в которых ему следовало бы провести всю свою жизнь. Он пошел со мной до площади с каменным львом, где мы расстались. Я сильно сжал его руку: я знал, что это наша последняя встреча.

— До свиданья, — по привычке сказал я. — До свиданья.

— Всего хорошего, — ответил Павлов.

Я уходил, оборачиваясь. Когда я дошел уже почти до середины площади, он поднял руку, и до меня донесся его спокойный, смеющийся голос:

— Вспомните когда-нибудь о черных лебедях!

«Стрелец» принимает объявления от издательств, книжных магазинов, музеев, галерей и другую рекламу, связанную с литературой и искусством.

РАСЦЕНКИ НА РЕКЛАМНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ В РАМКЕ:

1 дюйм на одну колонку	**$7.00**
Четверть страницы	**$50.00**
Половина страницы	**$100.00**
Целая страница	**$200.00**

Объявления и оплату (чеки и денежные переводы) просьба направлять по адресу:

ALEXANDER GLEZER
286 Barrow St., Jersey City, NJ 07302 U.S.A.

василий аксенов



гласность с дефектом речи

радиоэссе

Каждое поколение склонно называть свое время безнравственным, циническим, предгибельным. В числе прочих факторов тут срабатывает и наивность, странная неспособность распространить понятие «нашего времени» за пределы нашего существования в биологическом цикле. А ведь не исключено, что когда-нибудь в будущем несколько тысячелетий истории будут называть коротко «веком колеса».

Век информации тоже начался не сейчас, однако нынешнее его развитие позволяет иной раз подумать, что «колесный» период в этой сфере человеческой активности уже прошел. Происходят какие-то события, находящиеся за пределами не только понимания, но и воображения, явления почти или уже метафизического порядка, стоящие вне известных параметров и уж во всяком случае вне так называемой «научной» материалистической философии.

В принципе вокруг нас происходят чудеса, о невозможности которых постоянно говорили большевики. Подходящий момент перефразировать известную цитату. Не успеваем мы привыкнуть к компьютерным чудесам, как появляются уже какие-то принципиально новые информационные структуры, позволяющие за одну секунду перебросить через океан весь текст Британской Энциклопедии.

Мы все устаем и отстаем от этой странной прыти. Чего же еще ждать от слабых человеков, в течение одной малой жизни которых происходит несколько смен коммуникационных эпох; однако мы живем среди этих чудес и уже не представляем себе без них своего существования, а наши дети уже не представляют себе, как можно отставать и уставать от таких элементарных явлений природы, как электронная информация. Может быть и передача материи на расстояние когда-нибудь станет бытом?

Хуже, однако, когда от века информации устают и отстают не отдельные человеческие существа, а социально-политические системы, да еще из тех, что совсем недавно претендовали на роль самых передовых. Советский социализм представляет из себя разительный пример такого отставания. В соответствии с мудрым высказыванием своего основателя он стал бы пустейшей фразой без почты, телеграфа и машин, и он обзавелся всеми этими предметами, чтобы не стать пустейшей фразой, однако с компьютерами, видеокассетами, космическим телевидением, с рвущимся через границы потоком новостей этой непустейшей фразе становится так трудно, что она, похоже, начинает покрываться мхом и при жизни становиться ископаемым. Трудно отказать себе в удовольствии еще раз поплясать на обломках марксистско-ленинских клише, то есть не задать напрашивающийся риторический вопрос — кто же сейчас старается повернуть вспять колесо истории?

Перед лицом все нарастающей угрозы со стороны «века информации» у советского социализма остается фактически только два варианта: либо, как говорили в Гулаге «уйти в глухую несознанку», то есть замкнуться в неслыханную еще по закрытости тоталитарную систему, что в равной степени и возможно, и катастрофично, либо предпринять попытку изменения, попытаться подтянуться до современного уровня. Однако, возможно ли это без изменения самой сути режима? К чести нового поколения власть предержащих в СССР следует все-таки сказать, что они (или, так скажем, иные из них) похоже пытаются направить усилия во втором из указанных двух направлений. Призывы к новой «гласности» вызваны конечно не благими соображениями о нравственности подопечного народа, но паническим страхом перед все увеличивающимся отставанием от современности, однако хорошо уже то, что отставание связано именно с идеей гласности, а не с происками «жидов и велосипедистов».

Нынче в советских газетах иной раз встретишь чистый факт новости без его марксистско-ленинской интерпретации, иной раз натолкнешься на рассуждение, а самое главное даже не рассуждение, а интонация — свойственное, скажем, диссидентским кругам середины шестидесятых. И в то же время мировая общественность свидетельствует столь чудовищные, столь вопиющие провалы принципа гласности, что она вправе задать себе вопрос — возможна ли там гласность вообще: ведь она хочешь-не хочешь приводит к изменению обожаемого режима. Семь десятилетий искривленной зловредной лукавости ума и языка не могли не привести к дефекту речи, к характерному советскому косноязычию.

Помнится, как в 1956 году мы, студенты в Ленинграде, наслаждались рассуждениями сатирика Леонида Лиходеева на тему «Может ли утонуть наш советский пароход». Тогда нам казалось, что писатель смеется над прошлым, над сталинской глухоманью, однако советский пароход не мог утонуть еще долгое время, а если и тонул то только лишь для того

чтобы дать повод для восхваления героизма советского человека, а не для факта трагической новости.

Боже мой, сколько на нашей памяти примеров нелепейшей секретности и сокрытия фактов. Взять хотя бы тот же пресловутый «космос» — сколько лет они скрывали местоположение Байконура и имя Генерального Конструктора — зачем, от кого? Неужели они хоть на минуту сомневались, что израильской разведке все это доподлинно известно? Скрывается, стало быть, от своих, потому что им знать «не положено».

Самое печальное, что народ привык к этому многозначительному таинственному вздору. Помню, как-то в час печальный я сидел с друзьями в чайной... мужики вокруг вдруг заговорили о смерти Хрущева, кто-то слышал сообщение иностранного радио. Скончался, оказывается, культоборец, еще третьего дня скончался, а в советских газетах об этом не было ни строчки. И правильно, что не было, сказал один вася-теркин. Зачем разглашать? Большинство присутствующих солидно согласилось с этим умозаключеньем.

За семь десятилетий в обществе развились своего рода всеобщее заикание, шепелявость, неадекватное жестикулирование, странная артикуляция, все симптомы речевой недостаточности, свойственные болезни, которую можно было бы назвать «идеологическим косноязычием».

С таким наследием как нам развивать политику «новой гласности», если она в самом деле имеет в виду гласность, а не новую фигуру косноязычия? Нынче мы видим иной раз в советских газетах и в самом деле приметы чего-то нового, но рядом с этим и в гораздо большем количестве мы получаем примеры вопиющего по неуклюжести и наглости старого стиля. Все это удесетеряется, когда выносится на так называемую «международную арену». Тут уж как бы можно не стесняться, все мол спишется — капиталистическое окружение, товарищи. В этом окружении надо не объективистскую правду высказывать, а настоящую историческую правду, то есть с идеологическим огурцом во рту.

Иногда эти трюки, столь очевидные для бывших советских граждан и вызывающие оторопь стыда, оказывают свое действие на простодушную американскую аудиторию. Вот вам недавний пример одной из удачных акций отдела контрпропаганды агитпропа.

В каком-то американском городе присходит международная встреча детей. Очаровательные создания из обеих сверхдержав вместе поют и танцуют в какой-то миролюбивой рокопере, вместе и развлекаются на какой-то «барбикью парти». Корреспондент подходит к десятилетней советской девочке и спрашивает, как ей нравится угощение. Милейший типчик отрывается от обгладывания кентуккийской ноги имени полковника Сандерса и говорит, что в Советском Союзе еда лучше, потому что там она натуральная, а в Америке сплошные химикалии. Дитя не вспоминает ни бабушкины пирожки, ни тетушкины пельмени, но ведет себя в полном соответствии с тем, как ее индоктринировали перед «ответственной поездкой в цитадель мирового капитализма».

Увидев эту сцену в программе утренних новостей, я подумал о том, кто еще из миллионов американских телезрителей, кроме меня, вспомнит советскую колбасу, что синеет через пять минут после разреза батона и зловеще с загибами чернеет к концу дня, кто вспомнит умопомрачительную массу, именуемую «комбижир», кто заметит отвратительную хитренькую улыбочку, промелькнувшую на милом детском лице?

Большинство американских телезрителей подумает, что советский ребенок прав, что наши пищевые гиганты и впрямь слишком много всякого добавляют в продукты для пущей сохранности, и вот видите: даже ребенок из страны природных натуральных благ сразу это замечает. Пропагандистский эффект сразу же достигнут, находчивую крошку занесут в списки надежных выездных делегатов, однако подумает ли кто-нибудь из тех, кто промывал ей мозги, чего нам ждать от этой личности в системе новой гласности.

Вот еще пример идеологического косноязычия в «капиталистическом окружении». Солидный и, кажется, вполне неглупый московский профессор, безусловно призывающий дома к большей открытости, поддерживаюший тенденцию «новой гласности» в ответ на вопрос из американской аудитории, почему продолжается захват академика Сахарова, не моргнув глазом отвечает, что Сахарова никто не захватывал, что его попросили переехать в Горький. Тут уж даже неподготовленная к таким трюкам аудитория взрывается смехом.

Советский пароход теперь утонуть кажется уже может, что и подтверждает своим примером несчастный «Адмирал Нахимов», и власти теперь, кажется, уже понимают, что своевременное сообщение о трагедии и указание точного числа жертв в тысячу раз моральнее воспевания героических подвигов спасателей и постоянного доказательства преимуществ «советской морали». Увы, не могут сесть в лужу ни органы гэбэ, ни мудрецы агитпропа, ни МИД, ни вооруженные силы — они неприкасаемы. «Новая гласность» начинает заикаться еще пуще при столкновении с этими неприкасаемыми лимитами.

Говоря о тупиках, в которые ставит советское общество развивающийся без всякого уважения к законам марксизма-ленинизма «век информации», я вовсе не хочу сказать, что людям Западного мира он приносит одно лишь благо. Безудержное коммерческое использование новых коммуникационных средств приводит к переизбытку, к навалу, неразборчивости, усталости, пресыщению, когда уже и основное право свободного мира, право выбора, может оказаться под угрозой. Трудно разобраться, что взять, когда слишком много всего. Барахтаясь, чтобы не свалиться в хаос, берешь то, о чем тебе чаще говорят — бери!

Наиболее тревожная ситуация возникает в области информации высшего и не очень отчетливого порядка, то есть в области литературы и искусства. Естественное для этой сферы отсутствие четких критериев и параметров облегчает задачу торговцев, когда они выдают дерьмо за настоящий товар, когда в условиях массового потребления начинает преобладать не особенно даже и прикрытая пошлость.

Разнообразие Западного общества, впрочем, практически дает возможность сделать любые предложения, и тут уже все остальное зависит всякий раз не от правящих или направляющих клик, а от отдельного человеческого персонажа — способен он или нет сделать усилие в направлении выбора.

С этим делом, с информацией высшего порядка, социалистическое общество уже полстолетия пребывает в полном тупике, куда оно само себя и заткнуло при помощи цензурной системы, именуемой методом социалистического реализма. Тут, однако, для социалистического общества — если, разумеется, принимать провозглашенную «новую глас-

ность» за чистую монету — существуют и некоторые открытые возможности, ибо все-таки легче вышвырнуть за ненадобностью тряпку социалистического реализма, чем переплавить на мыло столь любезную сердцу секретность.

В принципе речь идет всего лишь об отказе от некоторых клише, установленных изначально даже и не Горьким и Фадеевым, а еще передовиками-демократами Белинским и Чернышевским, снабдившими потомство своими столь устойчивыми банальностями в отношении литературы как «школы жизни».

Скажу несколько слов о жанре, мне наиболее близком, о романе. Настоящий роман не может быть ни антисоветским, ни просоветским, потому что проблемы советской власти для него слишком мелки. Грубо говоря, он «не по этому делу». Он может задирать установившуюся мораль, но только лишь попутно, в порядке построения своего словесного города. Если же он поставит своей целью ниспровержение или утверждение морали, тогда не состоится и будет просто очередной книгой, но не романом. Эпатирующие моменты романа не относятся к проблемам власти, какой бы нахрапистой и навязчивой она ни была, но только лишь к построению словесных карнизов, к облицовке фасадов и к покрытию своих авеню. Роман отбирает строительный материал не из того, что власть разрешает или запрещает, а из того, что ему больше подходит. Роман не является общественным или антиобщественным явлением (что в принципе одно и то же), он является явлением пейзажа. У власти к роману может быть только два отношения — либо она его разрешает либо она его не разрешает, разрушить — не может. Если власть всерьез говорит о гласности, ей следует разрешить роман, потому что именно с романов и начинается это странное и в то же время столь насущное для современной жизни явление.

Трудно, однако, поверить в серьезность этих намерений. Трудно представить, как сможет приспособиться одряхлевший марксизм-ленинизм к современности без кардинальных изменений своей или ее (современности) сути. С удовольствием опять используя давнее советское клише, скажу, что повернуть вспять колесо истории ему вряд ли удастся; это уже за пределами воображения. Легче все-таки представить изменение сути марсизма-ленинизма, хотя и это тоже относится к разряду фантастики. «Если факты против нас, то тем хуже для фактов», — говаривал душка Иосиф Виссарионович. Признать незыблемость факта для марксизма-ленинизма означает признать правомочность критики в свой адрес (не в адрес отдельных начальников, а именно в адрес системы), ибо факт почти всегда входит в систему критики. Половинчатость принимаемых мер на наших глазах то и дело приводит к большому или малому хаосу, дурацким телодвижениям запутавшегося в противоречивых рефлексах гигантского организма, наносит системе урон катастрофического характера. Уместно тут будет вспомнить три наиболее разительных примера событий, происшедших на коротком пространстве последних трех лет. Они все имеют самое прямое отношение к обсуждаемой сегодня проблеме «гласности с дефектом речи».

Три года назад советский летчик уничтожил огромный пассажирский самолет с двумя сотнями шестьюдесятью девятью людьми на борту. Это кошмарное событие вызвало бурное и хаотическое столкновение двух стихий, столь же не похожих друг на друга, как не похожи, скажем, косматый мамонт и легковой «мерседес» — стихии советской цензуры, секретности, суперсекретности, идеологического фетишизма и стихии западной ультрасовременной, электронной, неограниченной никакими лимитами журналистики. Советская сторона поставила в этом деле рекорды неуклюжести и растерянности — сначала не сообщали ничего, потом, когда мир уже знал все, сообщили кое-что, потом, не видя уже перед собой никакой другой возможности выбраться из позора, подняли оголтелый вой о «священных рубежах» и наконец стали валить с больной головы на здоровую — американцы, де, самолет заслали. Трудно придумать более бездарный сценарий.

Чернобыльская трагедия еще более показательна в этом отношении, хотя бы потому, что она произошла на пике развернувшейся кампании за модернизацию, за «новую гласность». Молчали практически целую неделю (я получил письмо от друга из Москвы, датированное третьим днем мая, и из этого письма было ясно, что он и понятия не имеет о том, что уже несколько дней вызывало сущую свистопляску — запляшешь тут со свистом на грани цепной реакции — в западной прессе), а могли молчать еще несколько недель, если бы ветер подул не в сторону Скандинавии, а, скажем, на Казахстан. Отечески, как ни в чем не бывало, улыбались демонстрантам с ленинской гробницы, а в Киеве устроили на улицах массовый гопак. Где же тут затерялись свежие бризы «новой гласности» в смраде настоящей сталинской трясины?

Постыдной была и реакция правителей на тревогу, забитую западной прессой, общественностью и правительственными кругами. Злорадствуют, де, по поводу нашего несчастья. Говоря так, только лишний раз раскрываешь, насколько провинциален, насколько не в курсе жизни современного общества, насколько, то есть как глубоко, индоктринирован замшелыми клише антизападной пропаганды, насколько и как серьезно болен идеологическим косноязычием.

Между тем, существуй в Советском Союзе гласность или хоть тенденция к «новой гласности», неужели не нашлись бы честные журналисты, которые, не дожидаясь, когда все это обрушится из-за рубежа, не сообщили бы о катастрофе вовремя, не связались бы с телеграфными агентствами, с телевизионными станциями, не дожидаясь решения все того же единственного на всю страну правомочного синклита?

Катастрофа может произойти в любой стране, но ни в одной стране сейчас не может произойти такого позорного молчания, такого кризиса гласности; даже и в Китайской Народной Республике уже не может. Злорадство — это самое последнее, что приходило в головы людей даже самых консервативных убеждений. Напротив, затруби Советский Союз первым тревогу, что с точки зрения нормальной логики он и должен был сделать в первую очередь, ничего, кроме сочувствия, он не встретил бы в современном мире. Горечь и злые насмешки вызывали проявления советской цензуры и смехотворной секретности.

Либеральная «Вашингтон Пост» в те дни напечатала карикатуру. Верхом на бронированной стене с надписью «СССР» сидит толстозадый пограничник. Над стеной в сторону Запада плывут радиоактивные облака. Пограничник ворчит: «а они еще говорят, что ничего не проникает из нашей страны на Запад».

Следует все-таки сказать, что последующее развитие советской чернобыльской информации всех удивило некоторой от-

кровенностью и даже иными вспышками спонтанности. Стали поговаривать, что кто-то в СССР всерьез озабочен развитием гласности (на Западе до сих пор живет мечта о возвращении России в семью цивилизованных народов), как вдруг разразилось новое кризисное дело — арест журналиста Николоса Данилова.

Старались, как бы получше соврать, как бы поправдоподобнее доказать, что он шпион, а между тем зря старались: свободные люди, как дома, так и в мире, над этими уликами смеются, а для советского мещанина и так ясно, что иностранный журналист — шпион. Для советского мещанина американский репортер — это существо полумифическое, сродни козлоногому фавну, эдакий домовой, черт запечный, шкодливый и верткий игрец, которого надо гнать или заклинать марксистскими заклинаниями. Ишь ты, чавой-то узнать про нас хотит! Сгинь, нечистая сила!

Вспоминается пролог к кинофильму Андрея Тарковского «Зеркало». У иных критиков он в те времена вызвал недоумение — к чему это, какая связь, какая авторская ассоциация, нет ли здесь чистого режиссерского кокетства, творческого своевольничания? А между тем этот пролог относился (а сейчас еще больше относится) ко всему обществу. Напомню, господа, что этот замечательный фильм открывается сценой в кабинете логопеда. Врач учит молодого человека произносить некую символическую в своей простоте фразу.

Учимся ли мы говорить или безобразно сачкуем? Сможем ли мы преодолеть косноязычие? Хотим ли мы этого?

Этот юмор раскрывает мириады истин»

РОНАЛЬД РЕЙГАН

Объявляется предварительная подписка
на книгу Д.Штурман и С.Тиктина

СОВЕТСКИЙ СОЮЗ В ЗЕРКАЛЕ ПОЛИТИЧЕСКОГО АНЕКДОТА

Издание второе исправленное и дополненное
Цена книги — $21

Для подписчиков цена, включая доставку заказной бандеролью: морем — $16, авиапочтой — $17,5

Некоторое повышение стоимости книги вызвано увеличением ее объема, в основном за счет НОВЫХ анекдотов, богатых событиями 1985-1986 гг.

Чеки посылать по адресу:
S.Tictin, 422/6 Misrakh Talpiot, Jerusalem 93802, Israel
с любой датой оплаты до 1 апреля 1987 года
Просьба к подписчикам сообщать
свой подробный адрес

КНИГА ВЫЙДЕТ В ТЕЧЕНИЕ 1987 ГОДА

«НАША ГАЗЕТА»

РУССКИЙ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК
Главный редактор Макс Ройз

'Nasha Gazeta', P.O. Box 6118, Station 'J', Ottawa, Ontario, Canada, K2A 1T2

«Наша газета» регулярно публикует прозу и стихи русских писателей, живущих на Западе, обзоры книг, кинофильмов, концертных программ и выставок; анализ общественно-политических событий; новости в области спорта, науки и техники.

Стоимость подписки в канадских долларах

Обычной почтой

	1 год	6 мес.
Канада	$30	$20
США	$35	$25
Все остальные страны	$40	$30

Воздушной почтой

Канада	$70	$40
США	$85	$50
Все остальные страны	$100	$60

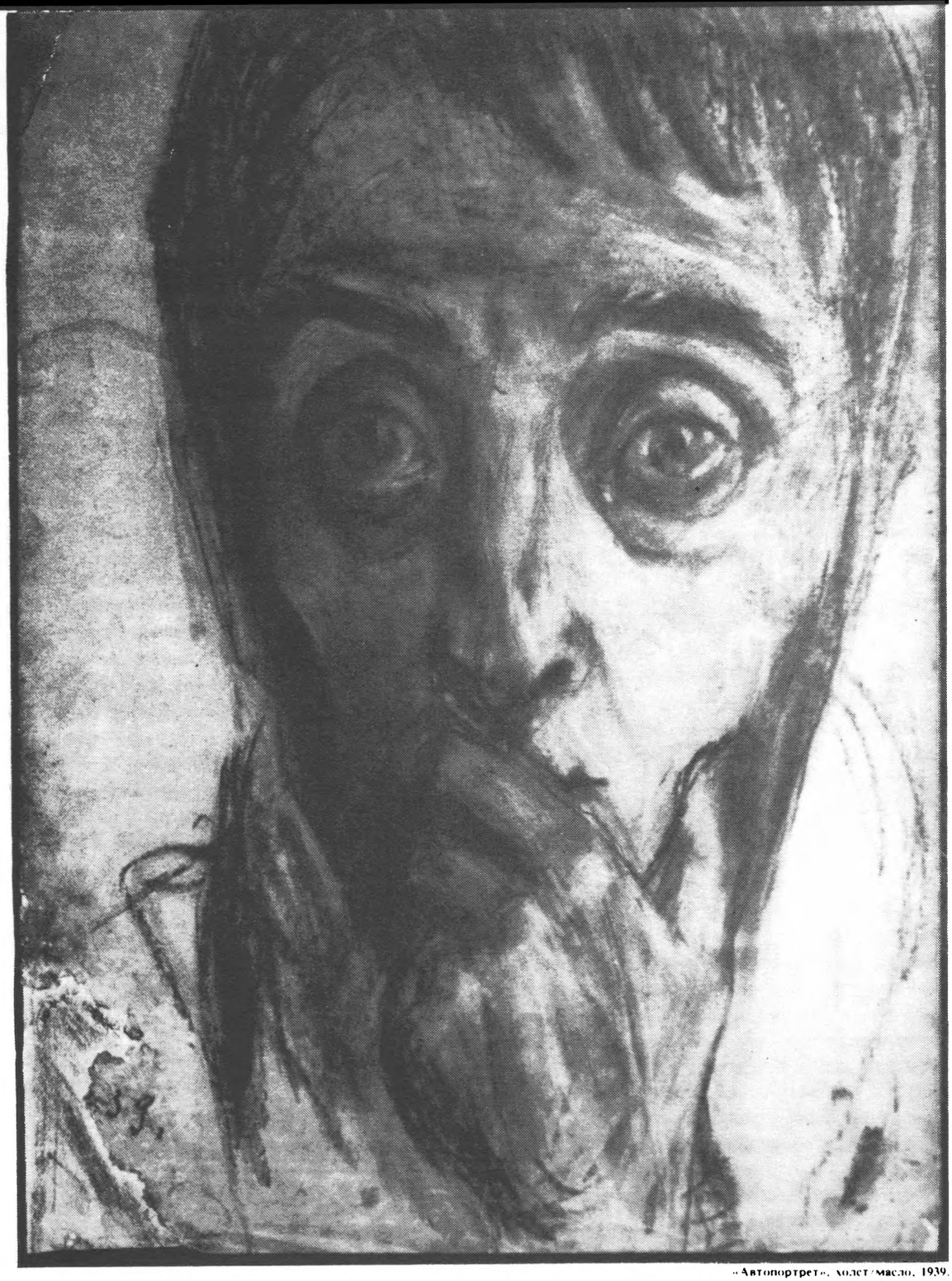
Всем, оформившим подписку на 1986-1987 год, будет бесплатно выслана новая книга Юза Алешковского «Блошиное танго», которая выходит в издательстве «Наша газета». (Ориентировочная стоимость $10 США).

Просим писать на адрес редакции и приложить банковый или почтовый чек.

гавриил гликман

● из книги воспоминаний ●

ДЕЛО ЕГО ЖИВЕТ ● СКУЛЬПТОР ВУЧЕТИЧ



«Автопортрет». Холст/масло. 1939.

Никогда не забуду такую теперь далекую, почти нереальную весну 1945 года. Конец долгой и тяжкой войны. Победа!

Казалось, многое в нашей стране должно измениться. (Увы! Это были напрасные надежды). Но в эти ароматные, теплые весенние дни все мы, довоевавшие до победы солдаты, были счастливы, опьянены радостью и надеждой. Наверное, никогда я не ощущал такой полноты жизни, такого радостного и восторженного внимания ко всему, что меня окружало. Может быть, именно поэтому я так хорошо запомнил эту свою поездку в начале июня на американском «джипе» из Ратенова – маленького городка западнее Берлина, где стоял наш артиллерийский полк, – в Берлин. Дорога была усажена цветущими яблонями и вишнями. Несмотря на множество машин ошеломляла тишина, особенная тишина. Такая разительная после грохота орудий, оглушительного военного шквала. В дороге мы с шофером несколько раз останавливались, чтобы перекурить, побродить по теплой мягкой земле, послушать пение птиц. На лице моего спутника, широкоскулого орловского парня, блуждала растерянная улыбка. Наверное, я тоже улыбался. Берлин снова напомнил о войне. Город был весь разрушен, хотя пожарища уже не дымились, но все было пропитано атмосферой последнего жаркого сражения. Окна уцелевших домов были заколочены фанерой.

Города я совсем не знал, но когда мы неожиданно выехали на большую площадь, я сразу узнал прекрасный памятник Вильгельму Первому. Сколько раз в библиотеке Академии художеств в большой книге с коленкоровым переплетом и готическим шрифтом я любовался этим талантливым творением немецкого скульптора Бегаса, а теперь вот удалось увидеть его воочию. Конную статую ведет под узцы прекрасно вылепленная женская фигура, олицетворяющая Победу. В руках женщина держит лавр. На ступенях постамента расположены могучие юноши, кующие мечи, разъяренные львы упираются лапами в оружие. Я долго рассматривал этот памятник. После гигантских железобетонных орлов, сидящих на свастиках, которых мы постоянно встречали на дорогах Германии, скульптура Бегаса поражала своей изысканной гармонией и талантом.

Июньский день в Берлине был длинным, и я нашел время полюбоваться фонтаном Посейдона работы того же скульптора и памятником ученому Гумбольдту. Я побродил по Трептов-парку, зашел в Тиргарден, чтобы посмотреть скульптуру Кольбе. Разрушенный, поверженный в прах, опустевший Берлин хранил даже в эти дни свое величие и монументальную красоту. Город был почти пуст. Мы с моим шофером проехали мимо Рейхсканцелярии Гитлера, большого мрачного здания с заколоченными окнами. Стены были испещрены надписями: «Мы из Курска», «Мы из Воронежа... из Москвы... из Киева...» Странное чувство горечи, радости, смятения испытывал я, проезжая на «джипе» по Берлину.

Думая о превратностях судьбы, о неисповедимых путях ее, я неожиданно очутился у здания берлинской Академии художеств. Я остановил машину и вошел внутрь. И здесь было пусто. Гулко раздавались по коридору мои шаги. Я уже хотел повернуть обратно, как вдруг оказался у входа в большую студию, где шла работа. Мои соученики, скульпторы Цигаль и Кербель, лепили там памятник советскому солдату. Памятник я плохо помню, помню только чувство огорчения и разочарования, когда я увидел привычные стандартные формы, холодное ремесленничество. Еще так свежа в памяти была война, столько образов роилось в голове, такой грандиозной и вдохновенной казалась задача – воплотить в скульптуре подвиг русского солдата, и вдруг я увидел такое равнодушное, штампованное произведение. Я быстро ушел, да и время кончалось, пора было возвращаться в часть.

Над Берлином сгущались сумерки. Я побродил еще по Трептов-парку, стараясь развеять неприятное ощущение от только что увиденного. Я не знал тогда, что прекрасный памятник Вильгельму Первому работы Бегаса будет взорван и уничтожен в этом же году (кстати, остатки его хранятся где-то на задворках в ГДР). И инициатива этого злодеяния будет принадлежать известному советскому скульптору, верному слуге партии и правительства Евгению Вучетичу. Будучи руководителем студии Грекова, он побывал в Берлине не раз и, мягко выражаясь, немало позаимствовал из этого памятника для своих будущих «шедевров». Я не знал тогда, что один из них – солдат с девочкой на руках, разрубающий свастику, – будет установлен в Берлине уже в 1948 году. Это двадцатиметровое чудовище, печально известное нынче всем, поражает своей безвкусицей и, я бы сказал, вульгарной топорностью.

Личность Евгения Вучетича, увенчанного всеми наградами и почестями, наредкость типична для тоталитарного режима Советского Союза, для пресловутого социалистического реализма. Лишь только поэтому стоит вспомнить о нем, да еще потому, что немало вреда причинил он своими многочисленными скульптурами и скульптурными ансамблями, уродующими землю русскую, искажающими большие чувства и идеи.

Вучетич всегда страдал гигантоманией независимо от того, к чему обращался его ненасытный творческий пыл – к скульптурному портрету или многофигурной сюжетной композиции. Сталинградская битва – один из самых трагических эпизодов Отечественной войны. Несметное число русских и немцев погибло во время этого длившегося много месяцев сражения. Нынче Сталинград отстроен заново, следы войны найти там трудно, но каждого приезжающего в этот город на Волге, проезжающего или проплывающего мимо, встречает колоссальная многофигурная скульптурная панорама боя – так называемый «Памятник Победы», для создания которого были снесены целые жилые кварталы. Во главе этой композиции – тридцатиметровая полуобнаженная женская фигура, устрашающего вида, с голыми ножищами и оскаленным страшным ртом. В руке у нее меч, и обращен он на Запад. Мол: «Помните нас!» Трудно говорить о каких-либо художественных достоинствах этого произведения. Все натуралистично, грубо, невыразительно. Единственное, чем действительно способно поразить это творение дурного вкуса, так это своими размерами. И еще, глядя на сталинградский памятник победы, испытываешь чувство горечи, думаешь о миллионах, которые лежат там, в земле, и понимаешь, что памятник кощунственен. Оставили бы лучше небольшой окопчик, в котором сражались и умирали солдаты, или знаменитый дом Павлова, в котором остались одни стены и черные провалы окон.

Смерть в 1974 году помешала Вучетичу, любимцу партии и правительства, осуществить еще один гигантский замысел. Впрочем, работу над памятником в честь сражения на Курской дуге Вучетич успел начать. Видно, мода на динамические скульптуры, давно захватившая Запад, не давала покоя и советскому мэтру. Представляете себе! Памятник на Курской дуге был задуман в виде столкновения движущихся советских и немецких танков. Со скрежетом, грохотом и пальбой танки должны были снова и снова сталкиваться друг с другом днем и ночью, создавая в этом районе постоянный пронзительный шум. Вероятно, места эти стали бы необитаемыми, если бы маниакальная идея Вучетича осуществилась.

Я знал Вучетича, видел большинство его работ. Они были отмечены всегда полным отсутствием духовности, внутреннего содержания, пластичности. Зато анатомию мышцы Вучетич знал прекрасно. Как-то талантливый советский скульптор Матвеев, у которого Вучетич некоторое время, приехав из Ростова, учился в ленинградской Академии художеств, сказал: «Я вам советую стать ветеринаром, а не скульптором». Вучетич из Академии ушел, но не растерялся, переехал в Москву, где очень скоро занял ведущее положение, поддерживаемый партийной критикой. Ветеринаром, к сожалению, он не стал, а Матвееву в свое время отомстил. В послевоенные годы он публично требует суровой расправы над формалистами. Тогда в газете «Правда» появляется его статья «Шаманство вместо скульптуры», в которой он смешивает своего талантливого учителя с грязью.

Сразу после войны Вучетич воздвигает на берегу Волги, у Сталинграда, колоссальную статую Сталина и поет дифирамбы другу и вождю всех народов. Но времена меняются, тиран развенчан, разоблачен. Вучетич, как всегда, на переднем крае, он неутомим, он с пеной у рта тоже развенчивает «культ личности» своего недавнего кумира, и под руководством самого Вучетича колоссальный кран сбрасывает скульптуру Сталина и разламы-

вает ее на куски. Теперь настала пора служить новому хозяину – Хрущеву. Вучетич с восторгом славит нового «хозяина», его гений и энергию. Хрущев не оставляет скульптора без внимания. Одна из работ Вучетича – «Перекуем мечи на орала» (ну, как не вспомнить опять памятник Бегаса!) – по распоряжению Хрущева в шестидесятые годы ставится на почетном месте – у здания ООН в Нью-Йорке.

Помню мое первое посещение мастерской Вучетича. И мастерская поражала своими размерами, и скульптуры в ней были все огромные, и помощников, так называемых «негров», которые выполняли подсобные, а порой и главные работы, тоже было очень много. Тогда, в шестидесятые годы, пятидесятилетний Вучетич (он родился в 1908 году) находился в самом зените славы и успеха. Первое впечатление от его внешности было скорее благоприятным.

Выше среднего роста, не полный, с правильным лицом, прямым носом и светлыми глазами, с большим черным бантом на шее, он был приветлив, разговорчив, но потом вдруг лицо его резко менялось, делалось страшным и мучительным, искажалось. Начинался припадок, во время которого руки судорожно закидывались к голове и все тело дергалось. Смотреть на это было страшно, и его делалось жаль. Припадок быстро проходил, и прежний облик возвращался. В нем как будто жили два человека, и интересно, что оба эти человека ясно различимы в его скульптурном творчестве. В скульптурных портретах Зои Космодемьянской (женщин Вучетич вообще изображать не умел), маршала Чуйкова, генерала Ефремова и многих других, не говоря уже о скульптурных композициях, Вучетич, с одной стороны, всегда был скрупулезно натуралистичен, увлечен анатомией, а с другой – болезненно экспрессивен, патологически экзальтирован. Вучетич был моим современником, я не раз встречался с ним, хотя отношения наши были лишь официальными. Но наблюдая жизнь этого человека издали, я всегда удивлялся его неукоснительной верности, как любил он сам повторять, «делу партии, делу Ленина». Не берусь судить, каким он был сам с собой, наедине. Это Вучетич унес в могилу. Но думаю, он никогда ни в чем не усомнился и был верным слугой коммунистического режима. Памятник Дзержинскому в центре Москвы у здания КГБ – лишнее свидетельство его верноподданства. Он не терпел никакой крамолы в искусстве. В свое время закрыл музей Голубкиной. А во время хрущевской «оттепели», посетив знаменитую выставку советских кудожников в московском Манеже, Вучетич в панике прибежал к маршалу Чуйкову с тревогой: «Наших бьют!» Чуйков успокоил скульптора: «Сейчас позвоню Никите!» – сказал маршал.

К сожалению, по стопам Вучетича пошло не одно поколение советских скульпторов. Стараниями их обезображена не только русская земля – они проникают и на Запад, в Европу и Америку. Чего стоит громадная голова Карла Маркса, чудовищная по своему уродству, установленная в ГДР. Она напоминает отрубленную голову из поэмы Пушкина «Руслан и Людмила». А многофигурный памятник советским воинам-освободителям, установленный «навечно» в центре Вены, охраняемый днем и ночью полицией, удручает своей тупостью и антихудожественностью. К сожалению, подобных примеров можно привести много.

Вучетич умер, но дело его живет, потому что антидуховность, антиэстетичность и антихудожественность – основы направления, названного социалистическим реализмом, направления, чуждого людям и истинному искусству.

КРАТКИЙ ОБЗОР

1986 и 1987 годы являются своего рода юбилейными. Именно десять лет назад начался широкий исход русских художников-нонконформистов из Москвы и Ленинграда в Европу и США. Чего только не предрекали им: чисто политический интерес на Западе к их искусству, который быстро пройдет, творческий застой и даже просто голодную и холодную жизнь. Оставшихся на родине неофициальных живописцев пытались поставить под гебистский контроль, говорили им о катастрофической судьбе их эмигрировавших коллег, призывали пойти на компромисс, суля за это различного рода блага вплоть до творческих командировок за границу и выставок в подставных (им об этом, конечно, не докладывали) просоветских галереях в Питсбурге и Париже. Для подкрепления посулов и угроз советские товарищи ссылались на письма своих эмиссаров, которые массовым потоком посылались в 1976 и 1977 годах из Парижа в Москву, письма, в которых описывалась трагическая ситуация, сложившаяся вокруг свободного русского искусства на Западе: никто им, дескать, уже не интересуется, художникам не только не на что красок и холстов покупать, но и на еду средств не хватает.

LEONID SOKOV
PAINTINGS & SCULPTURE
NOVEMBER 6 - 30
ZEUS TRABIA
437 EAST 9 STREET, NEW YORK CITY 10009
505-6330



РУССКИХ ВЫСТАВОК 1986 ГОДА



Между тем, это абсолютно не соответствовало истине. Естественно, не у всех художников и скульпторов-эмигрантов дела складывались одинаково хорошо, некоторым приходилось, особенно в первое время, трудно, но, во всяком случае, никто из них не голодал, все выставлялись, а многие жили только на продажу своих произведений. Сейчас можно подвести некоторые итоги, ибо десять лет срок солидный, все случайное за это время отсеялось и реальная ситуация ныне такова. Под Парижем и Нью-Йорком функционируют Музеи современного русского искусства, в Париже пропаганде независимого русского искусства посвятила себя «Галерея Мари-Терез», в Нью-Йорке существуют три русские галереи Эдуарда Нахамкина. В мае нынешнего года под Стокгольмом открылся Музей творчества скульптора Эрнста Неизвестного. А кроме того многие наши живописцы выставляются и работают с известными западными галереями, скажем, Юрий Купер и Борис Заборов со знаменитой парижской галереей Клод Бернар, которая, кстати, открыла в прошлом году филиал в Нью-Йорке и организовала там персональные экспозиции тех же Купера и Заборова; Виталий Комар и Александр Меламид постоянно сотрудничают с одной из престижных нью-йоркских галерей Рональда Фельдмана. Выставки русских художников проходили в последние несколько лет в столь известных европейских галереях, как Изо Брошо в Париже, Кружье в Женеве, Фишера в Лондоне.

В 1983, 1984 и 1985 годах в европейских и американских галереях и музеях каждый раз проходило свыше восьмидесяти персональных и групповых экспозиций свободного русского искусства. И в Париже и в Нью-Йорке появилось немало коллекционеров именно этого искусства. В их собраниях ныне несколько сот картин, акварелей, рисунков и скульптур, причем, не только художников-эмигрантов, но и мастеров, живущих в Москве и Ленинграде.

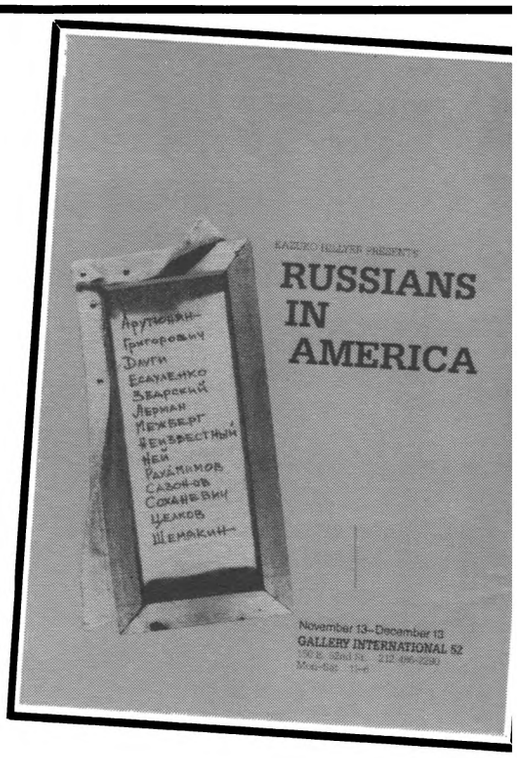
Но обратимся к выставкам русского искусства на Западе в 1986 году. Их снова состоялось свыше восьмидесяти. В Париже прошли персональные экспозиции нью-йоркцев Сергея Голлербаха, Михаила Шемякина, парижан Юрия Купера, Михаила Рогинского, Александра Путова и Вячеслава Савельева. На групповых выставках здесь демонстрировались произведения ленинградца Владимира Овчинникова, нью-йоркца Виталия Длуги, парижан Оскара Рабина и Валентины Кропивницкой, живущей в Лондоне Ирины Плотициной. В Нью-Йорке на персональных и групповых выставках экспонировались работы парижан Бориса Заборова, Александра Злотника, Оскара и Александра Рабиных, Анатолия Путилина, Михаила Бурджеляна, Михаила Рогинского. И, конечно, сами русские нью-йоркцы выставлялись в своем городе более чем широко: и Эрнст Неизвестный, и Михаил Шемякин, и Виталий Комар и Александр Меламид, и Владимир Григорович, и Лев Межберг, и Виталий Длуги, и Леонид Лерман, и Григорий Гуревич и многие другие. Персональные и групповые выставки русских художников прошли в 1986 г. также в Сан-Франциско, в Мюнхене и в Вене.

Все эти, более чем восемьдесят экспозиций, описать, конечно, невозможно, и я подробнее остановлюсь лишь на важнейших из них. Тут прежде всего мне хочется рассказать о триумфальном шествии по Европе москвича Ильи Кабакова. Стартовавшая во второй половине прошлого года его персональная выставка в Швейцарии, в Бернском Кюнстхалле, то есть в главном выставочном зале города, в январе-феврале этого года демонстрировалась в Марселе, затем переехала в Дюссельдорф и в конце года прибыла в Париж, где расположилась в просторных залах Национального центра пластических искусств. И повсюду ее сопровож-

дал успех, все критики отмечали оригинальность и талант русского художника, коллекционеры и в Западной Германии и в Париже уже не раз обращались ко мне с вопросом, где можно приобрести работы Ильи Кабакова. Я назвал бы эти выставки Кабакова — торжествующей справедливостью. Ведь Илья Кабаков не просто интересный художник, он отец русского концептуального искусства, из которого вышел и популярный в Нью-Йорке соц-арт. Кстати, в 1986 г. в Нью-Йорке в престижном Музее современного искусства даже состоялась выставка этого течения в свободном русском искусстве. На ней были представлены работы, считающихся основоположниками этого иронического и гротескного искусства, Виталия Комара и Александра Меламида, москвича Эрика Булатова, а также примкнувших к этому направлению за последние три года нью-йоркцев скульптора Леонида Сокова, художников Александра Косолапова и Леонида Ламма. Произведения Ильи Кабакова, к сожалению, на той выставке не экспонировались, хотя еще в 1978-1982 годах, то есть, еще до возникновения термина соц-арт, Кабаков успешно работал в этом направлении. А теперь вот на практически ретроспективной выставке Ильи Кабакова, проехавшей по Швейцарии, Западной Германии и Франции, искусствоведы и любители живописи смогли увидеть все аспекты его творчества: и концептуализм 60-х — первой половины 70-х годов, и соц-арта конца 70-х — начала 80-х, и дальнейшее развитие этого большого художника-философа, которого Запад по-настоящему узнал лишь в нынешнем году. Но, как говорится, лучше поздно, чем никогда. В Париже, как и перед другими выставками Ильи Кабакова в Европе, к открытию экспозиции был выпущен каталог с цветными и черно-белыми репродукциями, со статьями о творчестве художника и его биографией. После двадцати пяти лет активной творческой жизни Кабаков, в конце концов, сподобился. Ведь для каждого живописца, а тем более художника-нонконформиста, живущего в СССР, где его творчество в лучшем случае замалчивается, а чаще пишут о нем в угрожающих тонах, серьезный каталог, вышедший на Западе — огромная моральная поддержка. Да и для будущих историков русского искусства 60-х — 80-х годов такой каталог необычайно важен.

В этом смысле большое значение имеют также персональные выставки москвича Владимира Немухина и ленинградца Владимира Овчинникова, состоявшиеся в прошлом году в Музее современного русского искусства в изгнании в Джерси Сити под Нью-Йорком. Действительно, Владимир Немухин — художник с более чем тридцатилетним стажем. На протяжении последних двадцати лет он неоднократно принимал участие в групповых выставках русского искусства в музеях и галереях Европы и США. О нем не раз писали западные критики. Его работы есть во многих частных западных собраниях, в 1967 году две картины Немухина приобрел знаменитый нью-йоркский музей Modern Art. Но ни разу за это время ни на Западе, ни тем более в СССР, не состоялось ни одной персональной экспозиции этого замечательного художника, виртуозного мастера, которого его коллеги недаром называют маэстро. Теперь такая выставка, наконец, состоялась, и, главное, что к ее открытию музей выпустил солидный каталог, в которым раскрывается творческий путь художника. То же самое можно сказать и о выставке Владимира Овчинникова и его каталоге.

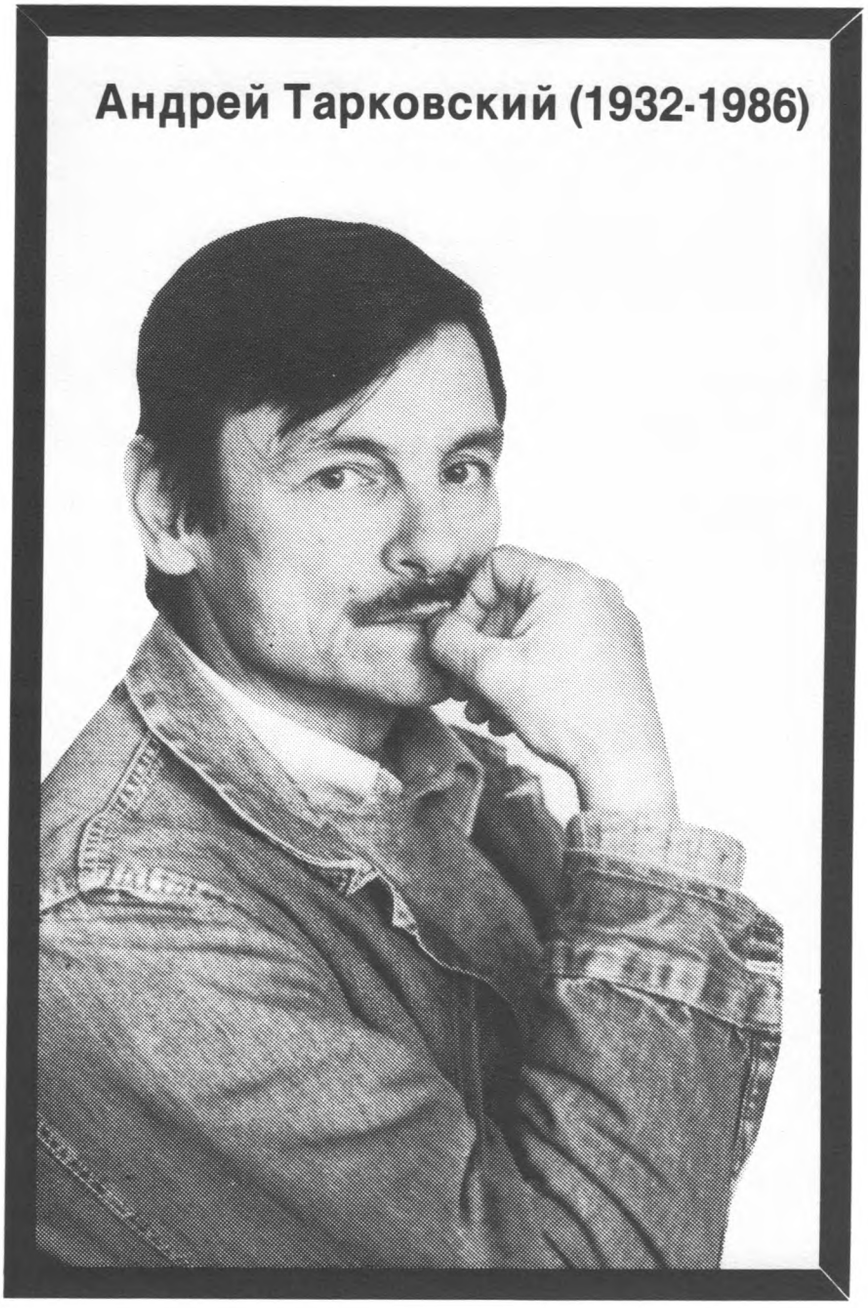




И еще я хотел бы отметить недавно прошедшую персональную выставку парижанина Бориса Заборова в Японии. До сих пор персональные экспозиции там были только у двух русских мастеров: художника Михаила Шемякина и скульптора Гарри Файфа. Но это было давно, в 70-х годах. Заборов же представлял свободное русское искусство в Японии после шестилетнего перерыва и представлял достойно. Во-первых, его выставка, проходившая в Токио с 27 октября по 15 ноября, состоялась в одной из наиболее престижных местных галерей «Art Point». А во-вторых, со всех точек зрения прошла эта выставка успешно. В ноябрьском номере известного токийского журнала по искусству и творчеству Бориса Заборова была посвящена обширная, с семью цветными репродукциями статья. Молодые японские живописцы попросили галерею организовать лекции русского художника. А коллекционеры уже в первую неделю приобрели более половины демонстрировавшихся на выставке картин.

Таким образом, география выставок русского свободного искусства в 1986 году была чрезвычайно широка — Нью-Йорк, Париж, Мюнхен, Сан-Франциско, Дюссельдорф, Стокгольм, Токио. И особенно отрадно, что впервые русская выставка прошла в столь престижном музее мирового класса, как нью-йоркский Музей современного искусства.

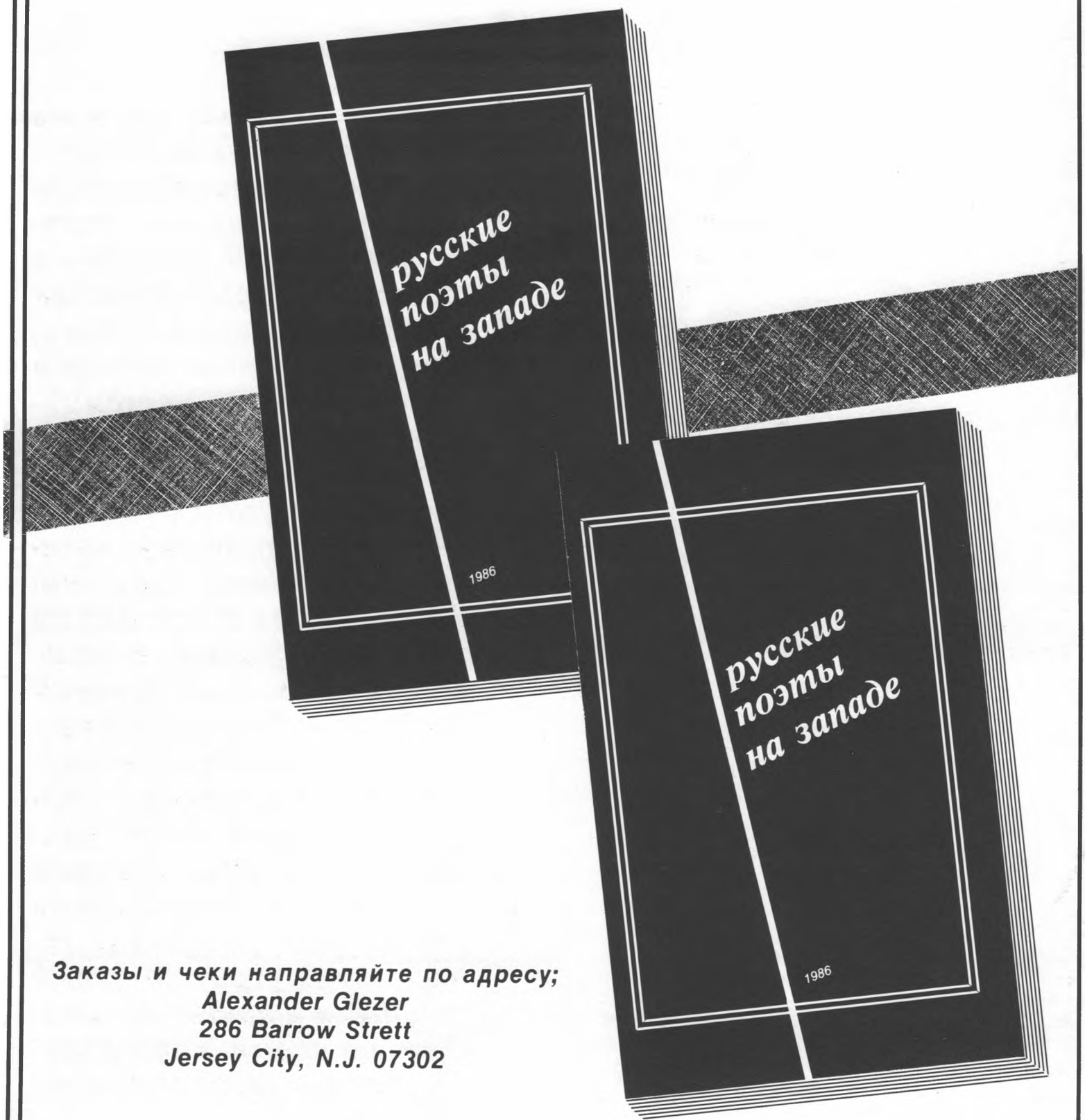
Александр Глезер



Хотя прошлый год и не был високосным, во второй его половине русская культура понесла тяжелые утраты. В сентябре в Мюнхене умер художник Виталий Сазонов, в Вашингтоне — коллекционер и пропагандист неофициального советского искусства Людмила Кузнецова. В декабре ушли от нас: в Москве один из зачинателей движения художников-нонконформистов Анатолий Зверев, в Нью-Йорке известный русский писатель Леонид Ржевский, в Париже выдающийся кинорежиссер, гордость современной русской культуры, Андрей Тарковский. Редколлегия «Стрельца» разделяет горечь этих утрат со всеми родными и друзьями ушедших, со всеми, кому дороги русские искусство и литература.

Издательство «Третья волна» предлагает новую книгу

Антология русской поэзии третьей волны — $18.



Заказы и чеки направляйте по адресу;
Alexander Glezer
286 Barrow Strett
Jersey City, N.J. 07302